

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

РУССКИЕ РОМАН  
в повестях  
МАЛЬЧИКИ

**Крутые горы  
Кикимора**

The book cover features a painting of two characters. On the left is a young boy with dark hair and a serious expression. On the right is an older man with a large, white, bushy beard and a fur hat, looking down. The background is a dark, textured green and brown, suggesting a forest or mountainous terrain.

# Альберт Анатольевич Лиханов

## Кикимора

*Ершов В.Г.*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=139134](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139134)*

*Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 1 / Предисл. А. Алексина; Коммент. И. Мотышова.: Мол. гвардия; М.; 1986*

### **Аннотация**

В повести «Кикимора» жизнь мальчика переплетается с историй живущего рядом конюха и его лошади.

# Альберт Лиханов

## Кикимора

*У всякого времени своя жестокость...*

Но если где-то неподалеку смерть, если пули и осколки целят в твоего отца и каждое утро, прежде чем проснуться, ты чувствуешь, как немеет тело от холода, приносимого страхом, – и потом среди бела дня, и вечером – вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего обмирает душа в неясном, но горестном предчувствии, – в неускоримо долгие, тягостные, безжалостные, беспощадные, жестокие эти дни есть ли цена всему остальному?

Есть ли цена жестокости, коли она не от войны? Время безмерной тяжести, не меняет ли оно цену на радость, обиду, ненависть?

Большое горе, неутешные слезы, безмерное ликование – не разменивают ли они в мелочь все другие чувства, которыми награжден от рождения каждый человек?

А если да?..

Как ужасно, как страшно это!

Горевать только при виде смерти, считать жестокостью лишь убийство, мерой счастья избирать одну собственную сохранность, во всех остальных случаях лишь равнодушно пожимая плечами: мол, бывает, дескать, случается, но глав-

ное – не это...

Главное – все, вот что.

Согласен: есть на свете великое зло, но нет обыкновенного зла, не может, не должно его быть.

Есть великое горе, но нет горя простенького, обычного, есть горе. Есть необыкновенная радость, и кто станет спорить, что она дороже обыкновенного счастья, маленькой радости.

Копеечных, мелочных чувств не надо.

Особенно когда ты ростом невелик и только начинаешь жить.

Щелястый забор отделял наш двор от детской поликлиники. Щелястым он стал в войну, будто война забору зубы выбила, а раньше – доска к доске – ровная стенка ограждала нас от детских писков и криков. Но война сделала свое дело, досочка по досочке – словно пололи морковную грядку – проредили мы забор, используя сухой материал на растопку, и стал он похож на редкозубый старушечий рот: ограждение вроде бы есть, но что оградить может?

Так вот этот – и не щелястый даже, а полупустой какой-то, условный забор – отсекал наш двор от детской поликлиники и упирался в конюшню.

В ней ночевала кобыла Машка.

Кошек, собак и прочей живности в нашем городе было мало видно той военной зимой, а вот лошадей полно.

Это объяснимо.

Во-первых, немногие автомобили, как и мужчины, ушли из нашего города на войну, и лошадь стала главным тяглом, ведь без транспорта не обойтись. Вот и остались в городе два вида транспорта: по железной дороге пыхтели паровозы, а на крутых городских улицах, покачивая шеей в такт своим шагам, напрягаясь всем телом, оскальзываясь и больно – но молча ведь, молча! – падая в гололед, разбрызгивая грязь глухой осенью и затяжной весной, задыхаясь летней пылью, шли и шли лошади, увозя с заводов ящики с сытыми боками сально блестящих снарядов, а от санитарных составов – раненых, укрытых серыми суконными одеялами, скрипучей зимой приволакивая из деревень возы сена для собственного же пропитания и много разных других вообразимых и невозможных грузов.

Однажды я видел, как лошадь везла другую лошадь.

По нашей улице гоняли скот на мясокомбинат – коров, быков, овец. Торный путь к скотобойне. Тогда тоже вели худшее стадо. Дело было по весне, бабы с кнутами хмуро и громко ругались хриплыми голосами, почему-то торопили коров, отгоняя их от первой придорожной травы, а позади стада шла лошадь, запряженная в телегу, на телеге валялся какой-то брезент, и на нем, стреноженный, лежал тощий конь. Он не брыкался, не ржал, а только косил огромным испуганным лиловым глазом – косил на небо, на стадо, жалостно взглянул и на меня, будто просил милости, и я чуть не завыл в голос: без всяких слов ясно, куда и зачем везли

этого худого коня!

Конское жесткое мясо давали по карточкам, его варили и ели без охов и ахов, и я это знал, не малыш несмышленный, а по коню тому заплакал...

Да, в самом деле: у каждого времени своя жестокость.

Лошадей было много – главный транспорт в тылу, – и детской поликлинике тоже полагались колеса, так что в конюшне, к которой примыкал наш редкозубый забор, ночевала смиренная кобыла Машка.

Ах, как хотел я прокатиться на ней, как жалел ее и как мечтал дружить с ней!

Странное дело, скажете вы, лошадь не собака, разве можно дружить с ней? Она в упряжке, на работе, с ней не побежишь наперегонки по зеленому лугу.

Это конечно, не побежишь, только и с лошадыю можно дружить, особенно когда ее бьют, да еще матерно приговаривают: «Эх, тудыть-растудыть» – и всяко-разно.

Что касается руготни, то бабушка и мама понапрасну тянули меня в сторону, когда что-нибудь неприличное на улице слышалось. Смешно, даже маленького пацана ведь не спрячешь в коробку, как, например, бабочку или кузнечика. Он живет, и дышит, и ходит по улицам, как всякий человек, и мир ему не заслонишь, а в мире всякого полно – и хорошего, и не очень, – и уши ватой не заткнешь. Так что насчет всяких крепковатых выражений мы в ту пору много чего уже

слыхивали, и эта дрянь вовсе даже не вызывала во мне отворачивания. Ненависть вызывало, когда матерятся и бьют, вот что.

Да, бьют бессловесную лошадь.

А Машку лупили почему зря.

Вечерами, когда кончался ее рабочий день, я прижимался ухом к стене конюшни и слушал, как в темноте хрукает сеном Машка, переминается с ноги на ногу и тяжело вздыхает.

Я не слыхивал ее голоса, она ни разу не заржала, сколько я помню, только вздыхала, и тогда я звал ее через стенку:

– Машка! Машка!

Лошадь умолкала, переставала жевать сено, прислушивалась, видать, потом снова принималась за еду, вздыхая еще пуще и чаще. Видно, душой принимала мое сочувствие и не скрывала от меня свое настроение и свои мысли.

– Эх, Машка! – вздыхал я, а сам думал: «И откуда же достался Машке такой жестокий конюх? Была бы Машка моей! Никогда бы ее не ударил! И ведь видит, знает, что лошади больно, а лупит, гад такой, этот Мирон!»

Конюх Мирон жил прямо в поликлинике вместе с женой, старухой Захаровной, и дочкой Полей. Я бывал у них дома еще совсем маленьким, до войны, вместе с мамой и с тех пор запомнил крохотную и узкую комнату, в которой окошко было почему-то очень высоко, почти под потолком. Мирона тогда в комнате не оказалось: он куда-то уехал на лошади по каким-то служебным делам, и потом всякий раз, как я

оказывался в гостях, хозяина дома не было.

Чистенькая старуха Захаровна всегда ходила в белом платочке, простоволосой не показывалась даже в самую жару, заметив меня, махала ручкой и, когда я подрос, тоже махала ручкой, уже по привычке, улыбалась, рассказывала пу-  
стяковые новости.

Можно сказать, с Захаровной у меня были хорошие соседские отношения, с Полей – дочкой Мирона и Захаровны – просто дружеские, она училась в каком-то техникуме по медицинской части, дома была редко, а когда появлялась, задняя дверь поликлиники то и дело стучала – Поля хлопала половики, ведро выносила и все со смехом и прибаутками, сильная, энергичная, веснушчатая, с двумя косичками, торчащими в стороны, – своей веселостью она вызывала ответную улыбку и взаимное желание сказать какую-нибудь шутку. А вот с Мироном у нас не было никаких отношений.

Нет, все-таки были: я его боялся.

Порой я встречал его на улице и, понятное дело, всегда здоровался. Наверное, вот эти ответные его действия меня и пугали: иногда он даже снимал шапку, раскланивался, и мне было неловко оттого, что старый человек зимой стягивает из-за меня свой рыжий треух – ведь холодно, можно простудиться. Но вот иногда, столкнувшись с ним носом к носу и поздоровавшись, я видел пустые, ничего не видящие глаза. Не узнал меня? Не услышал моего приветствия? То ли чутьем каким, неразвитой, но ясной детской интуицией, то

ли светлой верой в простоту отношений я знал, был уверен: и видит и слышит, а не здоровается в ответ нарочно.

Почему? Это расстояние было так велико – сперва сорвать шапку с головы, а потом не заметить.

И снова снять шапку перед пацаном...

Странность Мирона всегда оставалась для меня новой, не переставала поражать, и классе в третьем я сказал об этом маме.

Она выслушала серьезно, оглядела меня очень строго, словно оценивала мою готовность понять ее, и сказала:

– Ты к нему близко не подходи! Он всегда с кнутом.

Я обиделся. Конечно, я пацан, но все-таки не бессловесная Машка. Неужто посмеет? Нет, мама явно перебирала, заботясь обо мне.

– Сказанешь! – усмехнулся я.

Мама, точно Мирон, не услышала моих слов.

– Он ведь кулак! – проговорила она.

– Какой кулак? – ахнул я.

Кто такие кулаки, я уже знал, не малыш ведь бестолковый.

– Раскулаченный и высланный, – объяснила мама. – Вот какой.

Сколько я ее ни пытал, мама ничего больше не прибавила – сама не знала. Кулак, и все. Откуда-то с Урала.

– С Линой говорить неудобно, – объяснила она, – девка хорошая, только расстроится. Захаровна хоть и разговорчивая, да об этом помалкивает, а Мирона, сам понимаешь, не

спросишь.

Кулак! Всем ведь известно, что кулаки – это богатеи и враги Советской власти, и этого мне хватило, чтобы испугаться Мирона еще больше.

У него было много обязанностей в детской поликлинике, а главная среди них – кучер, точнее, извозчик, потому что кучер возит только седоков, а извозчик еще и грузы. На дворе возле конюшни стояла телега, а в самой конюшне, рядом со стойлом, хранился возок для заведующей поликлиникой. Иногда я видел, что Мирон выходит необычно принаряженный, – это значило, что он заведет Машку в оглобли возка, черного, лакированно-блестящего, а потом подгонит свой экипаж к парадному, или «чистому», как говорила Захаровна, подъезду.

Из поликлиники быстрым шагом выходила мрачная длинная тетка в широком пальто – я никогда не видел, чтобы она с кем-нибудь здоровалась или разговаривала, – плюхалась на заднее сиденье, возок слегка перекашивался, а Мирон звонко чмокал на Машку и меньше лупил ее вожжами, трогая с места, – видать, стеснялся заведующей.

Похоже, Мирон любил такие выезды, но удовольствие это случалось нечасто: заведующая ездила только по каким-то особым случаям, а так ходила пешком, и я не раз сторонился ее мрачной долговязой фигуры, маячившей посреди мостовой. В одной руке заведующая всегда держала малень-

кий плоский портфельчик, который казался еще крошечней именно в ее руке.

Так что Мирон редко получал удовольствие проехаться в лакированном экипаже, принаряженным, а чаще – в телогрейке и треухе, коли зимой, или простой рубахе без подпояски, если летом, он возил в поликлинику бутылочки с едой для самых маленьких малышей – такие махонькие бутылочки с метками по всей длине, заткнутые белыми бумажками и расставленные в ящики из железной проволоки. В поликлинике был пункт раздачи питания, и вот Мирон рано утром привозил откуда-то эти проволочные ящики с молоком и кашей.

Было слышно издалека, как он подъезжает к поликлинике. По булыжной мостовой телега катилась с привычным грохотом, от тряски бутылочки с детским питанием тоненько дребезжали, и казалось, звенит сразу множество колокольчиков.

Я не раз ловил себя на том, что, при всей своей нелюбви к Мирону, улыбаюсь, заслышав звон бутылочек. Тысячу раз я видел, как люди на улице – не только старухи и женщины, но и мужики и даже военные – смотрят вслед Машке и Мирону, которые везут бутылочки, и лица у них разглаживаются.

Война идет, а дети есть просят! Значит, растут! Значит, не так уж плохи наши дела!

А у Мирона были еще две обязанности, может быть, самые трудные и важные для детской поликлиники. Он приво-

зил дрова с берега реки, пилил их, чаще всего в одиночку, колол, разносил охапки поленьев к печкам и топил их.

Однажды он заболел, и Поля, возвращаясь из техникума, позвала меня топить печки. Я пошел.

Топить печку – кто этого не умел в ту пору? Замечательное дело, хоть и не такое простое, особенно вначале, когда огонь нужно раздуть, превратить в пламя. Да что там, это целое искусство – затопить печь, да еще сразу, с одной спички, да еще когда дровишки не первый сорт – сырые, с улицы, из-под снега или дождя. Для такого дела следует сперва нащипать лучины, а для лучины нужно лежалое в сухости полено, лучше всего березовое. Лучину надо еще с умом разложить под дровами, поначалу сухими, а сырые можно класть только в самый жар, когда пламя полыхает, жжет нещадным жаром.

Растопить одну печку и то требуется умение, а Поля мне сказанула такое, что я ахнул: надо запалить восемь печей! Поликлиника большая – два этажа, два подъезда, множество кабинетов, – вот и печей сразу восемь. Ничего не попишешь, надо топить.

Это оказалось сказочным удовольствием – топить сразу много печек.

Сперва я носился на улицу и обратно с Полей наперегонки, таскал дрова, и мы их складывали возле печей. Помню, было это в конце октября, но зима торопилась, и на дворе осень смешалась с морозцем: еще пахло осенней пряностью, палым листом, но запах этот был как бы остужен, разбавлен

резким холодом, а оттого легок и нежен. Когда дверь распахивалась, на пороге между холодом и теплом вспыхивало легкое облачко пара, яркое солнце подсвечивало его в голубое, и все это: легкий морозец, вкусный аромат осени, смешанной с зимой, легкое голубое облачко между холодом и теплом, желтые и чистые полы поликлиники, восемь печек, которые предстояло затопить враз, – все это возбуждало меня, хотелось кричать, смеяться, петь, и я запел не вполне осмысленную, но зато замечательную песенку из кино, которую пел артист Жаров: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Поля раскатилась, точно горох, услышав мою песенку. Я не удивился ее смеху, рассмеялся в ответ тоже, и дела наши пошли еще скорее.

Наступил важный миг. Дрова неторопливо и с толком заложены в топку, лучина нащеплена и разложена с умом, Поля берет коробок, чиркает спичкой и поджигает лучину. Быстрым и ловким движением она захлопывает печку, прислушивается, точно музыкант, к звуку огня. Сперва он лишь пощелкивает лучиной, затем потихоньку начинает гудеть, а потом будто кто-то сильно дует на горячий чай: тяга идет хорошая, с лучин пламя перебегает на дрова, пожар в печке занимается, и у Полины возле губ собираются тоненькие морщинки, она улыбается, довольна: печка топится исправно.

– Как ты поешь? – спрашивает она. – «Тирьям-тирьям»?

– «Тирьям»! – отвечаю я, и мы оба хохочем.

От печи к печке Поля переходит не спеша, а я бегом, мне не терпится, когда в следующей топке, точно в домне, вспыхнет еще один жаркий огонь. И еще мне не терпится зажечь печку собственными руками. Но я помалкиваю, только, видать, есть и другие способы выражения чувств – глаза, например, или перескакивание с ноги на ногу, или просительное молчание. Растопив вторую печку, Поля протягивает мне коробок со спичками, я издаю пронзительный вопль, трясусь спичками в коробке, будто бью в радостный бубен, и бегом мчусь к третьей печи.

Честно говоря, я волнуюсь.

Бабушка и мама разрешали мне топить печку, но та печка была нашей, своей, а здесь печи чужие. Кому не известно, что у каждой печи свой характер, они ведь как люди. Сколько печек, столько норовов. Одна уродилась ядреная, жаркая, другая угарная, а третью с десятой спички не запалишь – упрямый характер, что поделаешь. Так что с печками лучше всего обращаться ласково, вежливо. Вон бабушка моя, как печку топить, на коленях перед ней стоит, спичку к лучине подносит, а сама приговаривает: «Ну, голубушка, давай разогрейся, гори ярко, грей жарко!» Прямо стихи декламирует.

И что вы думаете – печка у нас прямо благодетельница: до утра не остывает, хоть какой тебе мороз.

Ну а здешние? Еще шесть печек надо затопить, а это все равно как с шестерыми людьми о чем-нибудь серьезном до-

говориться.

Волнуясь, поднес я спичку к лучине – она вспыхнула. По Полиному примеру я дверцу топки захлопнул, а у поддувала дверцу, напротив, пошире распахнул. Огонь заметался, загудел – ну прямо как по писаному. Умелый истопник, да и только.

Настроение у меня еще выше взлетело, но с печами не шутят, я уже не пел свою «Тирьям-тирьям», а подбирался к следующей печке вкрадчивым, вежливым шагом: как бы не подвела меня перед опытной Полей.

Четвертая печь загудела ровно и мощно. И пятая тоже, и шестая. Поля не удержалась, похвалила:

– Приходи к нам на работу. Ишь какой мастер!

И меня понесло.

Отворил варешку, заорал во всю глотку от Полиной похвалы: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Ну и что? Был тут же наказан! Седьмая печь, едва я разжег лучину, огонь потушила, дохнула мне прямо в лицо едким сизым дымом. Казалось, она устроена наоборот: дым у нее валит не в трубу, а в помещение. Сколько я ни чиркал о коробок, как ни торопился прикрыть дверцу, не желала разгораться эта седьмая, будто нарочно хотела перечеркнуть мой удачный путь от печи к печи.

– Ладно, – сказала Поля, видя мои мучения, – она у нас характерная, давай спички.

И тут же печка даже обличьем переменялась как будто.

То хмурилась, кривлялась, а от Полиной руки огонь весело полыхнул, и даже дым, какой в комнату напоз, вдруг медленно полез назад в поддувало. Ну и чудеса!

Я притих, настроение скисло. Последнюю печку Поля затопила сама, и мы с ней пошли обратно, к самой первой, проверить, как они топятся, эти восемь подруг, какое у них настроение.

Прямо рукой Поля открывала горячую дверцу – я удивлялся, как не обожжется, – мешала в печном красном горле кочережкой, подбрасывала поленья, теперь уже сырые, снова рукой притворяла печь, негромко напевала мою песенку: «Тирьям-тирьям, менял я...»

У последней, восьмой печки мы присели на минуту.

– Да ты, никак, на нее обиделся? – спросила Поля.

– На кого? – будто бы удивился я.

– Да вон на ту старушенцию!

Врать не хотелось, я вздохнул вместо ответа.

– Это еще что! – сказала Поля, потягиваясь. – Разве такие есть? Кикиморы бывают! Страху не оберешься, бывало.

Дело было в воскресенье, поликлиника пуста, мы с Полиной одни среди этих коридоров, кабинетов и печек, да и уроки я все выучил – торопиться некуда.

– Расскажи! – попросил я шепотом.

– Да ты не бойсь! – сказала, хохотнув, Поля. – Это я раньше боялась, а теперь знаю, в чем дело.

Ну да, она теперь училась в техникуме с медицинским

уклоном, а там науками все давно объяснено.

– Мы раньше в деревне жили, и была у нас проклятая печка. А все отец виноват! – сказала она. – Когда дом строили, позвали печника, и он оказался ваш, вятский. Мать рассказывает, отец все правила порушил, будто не знал, – жадность подвела. Сперва сильно с печником торговался, до ругани дошло, тот уже уходить повернулся. Едва сторговались. Потом сразу работать его заставил – опять неправильно. Да еще уколел: сперва, мол, заработай на ши-то. Печник промолчал, потом все вроде гладко, миром разошлись, печка получилась жаркая. Рассчитался с печником, тот ушел. А ночью, когда тихо стало, такое началось! Кто-то заскрипел, заворочался, да противно так – мороз по коже. Я еще маленькая была, завывала в голос, а мать кричит: «Кикимора, кикимора!» Поставил работник в печку кикимору – отцу назло. Я уж потом узнала: вятских печников принимать надо было наособицу – не торговаться, ведь печка на всю жизнь ставится, один раз, а поперед работы усадить за стол да крепко накормить, чтобы доволен был.

Я сидел ни жив ни мертв.

– А какая она бывает?

– Кикимора-то? – Поля засмеялась, но тут же сделала испуганное лицо. – Живет в печке, скрипит по ночам, детей малых да баб пугает. – Она опять рассмеялась. – Оставил печник склянку с ртутью, а в нее патефонных иголок горсть. Вот как остывает ртуть, иголки-то и скрипят. А остывает печка,

ясно дело, ночью.

Мы хохотали оба. Вот так да! Ларчик просто открывался, как писал дедушка Крылов.

– Кикимора! – повторил я, смеясь, новое словечко – мне нравилось его повторять, было в нем что-то страшноватое и смешное сразу. – Надо же, кикимора! Да, подвела твоего отца жадность, – повторил я Полины же слова, но она как-то искоса взглянула на меня, будто обиделась.

А я уже приготовился расспросить ее про Мирона: правда ли, что он кулак? Раскулаченный кулак откуда-то с Урала? Но не решился. Я глядел сбоку на курносый профиль Поли, которая вдруг сникла, примолкла, и жалел ее, впервые подумав про Мирона: вот кто Кикимора-то!

Мирон болел недолго, к Октябрьским праздникам был на ногах и с самого утра уже бродил, неуверенно пошатываясь, сильно пьяный. Дворник, истопник, извозчик, он должен был по праздникам вывешивать флаги. Я видел, как он прихватил лестницу, долго приставлял ее к железным держалкам, куда втыкают флаги, и ожесточенно, с яростью вворачивал в них древко, приговаривая довольно громко: «И-иэх! И-иэх!», будто ему было тяжело.

Я долго околачивался во дворе и сквозь дырчатый забор хорошо видел, как разворачивались события.

Пошатавшись по двору, Мирон исчез в поликлинике. Потом дверь откинулась нараспашку, и на улицу выскочила Полина. Я крикнул ей что-то приветливое, но она лишь слабо

махнула рукой и ушла со двора быстрым шагом, низко опустив голову, будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Странно: праздник, а она какая-то пришибленная.

Через полчаса в распахнутой двери появилась Захаровна. Наспех одетая, она хромала и постанывала. Заметив, что я смотрю на нее, Захаровна смолкла и неровным шагом исчезла вслед за Полей.

Я собирался было уходить, как вдруг появился Мирон. Он едва не скатился со ступенек, но все же удержался, гортанно всхлипнул и подошел к дровам. Возле нашего забора, с той стороны, грудились распиленные чурбаны. Мирон принес колун, поплевал на руки и вдруг стал раздеваться – скинул телогрейку, рубаху, нательное. Лицо и шея у него были красные, точно опаленные, а грудь белая, будто бумага, и на спине бурыми кругляшами виднелись пятна от банок. «Надо же, еще недавно болел, – подумал я, – а теперь разделся. Простынет!»

Мрачно подвывая, Мирон схватил колун и начал крошить чурбаки в поленья. Он не просто колот дрова. Он будто рубил кого-то, при каждом ударе смачно матерясь.

– Эх, трам-тарарам!..

– Ых, твои дети!

– Ек-якорек!

Я стоял развесив уши. Немало чего порочного и не достойного детского уха слышал я в нашем городке военной поры, а таких звукосочетаний слыхивать все же не приходи-

лось.

– Ах, вас-нас, матрас! – изливался Мирон.

– Ить-вить-растудыть!

Был он сильный, несмотря на впалую белую грудь, а сегодня еще и яростный – видать, из-за вина, – и поленья отскакивали от чурбаков, точно семечки, иные высоко подлетая, будто норovia Мирону в лоб за его злость и словечки.

Я думал, он не видит меня, раз напился, но извозчик вдруг обернулся ко мне и крикнул с такой страшной яростью, что я съежился:

– Чаво уставился! Аль не видал?

Серая борода его топорщилась лопатой в мою сторону, глаза сверкали взаправдашней и непонятной мне ненавистью. Я растерялся и проговорил в ответ:

– Здрасьте!

– Здравствуйте – не хвастайте! – зарычал Мирон, руганулся многоэтажно и неслыханно и жажнул колуном по чурбану – будто меня убивал. – Здравствуйте! – крикнул он, снова скинул колун и бухнул по деревяшке. – Не хвастайте!

Он кроил кругляки с чудовищной силой и приговаривал как-то навзрыд, подхохатывая: «Здравствуйте! Не хвастайте! Здравствуйте! Не хвастайте!» Будто сошел с ума.

И я знал: если бы ему требовалось ехать, он бы с такой же яростью и сумасшедшим гневом без всякой на то причины лупил бы сейчас безответную кобылу Машку!

Ему что дерево, что животина – все одно.

Да, все одно.

Мирон напивался во все праздники – и на Октябрьские, и в Новый год, и на Первомай, – но всегда при этом работал: колол дрова, как тогда, или мел тротуар перед поликлиникой, размахивая яростно метлой и распугивая прохожих ругней, повторяемой в такт шарканью своего инструмента.

А хуже всего, если он собирался ехать – ведь малыши требовали еды даже по праздникам. В таком случае Мирон ругался еще яростнее, пересыпая свою матерщину извозчичьими восклицаниями: «Но-о! Тпру-у!» Ужасней всех его слов был хлест вожжей и кнута. Сперва, видно, для порядку, со всего маху прохаживался он по Машкиной спине брезентовыми вожжами, вкладывая в удар всю свою силу.

Кобыла прядала ушами, приседала на задние ноги, изгибала шею, кося на хозяина кровавым глазом, а молчала и только взглядом молила о пощаде. Но что ему лошадиный взгляд, этому извергу Мирону! Он лупил кобылу для порядка, просто так, чтоб знала, кто она такая и кто властвует ее жизнью.

Отлупив лошадь, изругавшись до пота, одурев от своей физзарядки и, кажется, даже получив удовольствие, Мирон наконец слабел, крики его становились тише, невнятнее, Машка успокаивалась и смиренно становилась между оглобель. Он запрягал ее, подтягивал подпруги, подлаживал какие-то ремешки и ремни и, довольный, цокал на кобылу. Она

трогала со двора, а в телеге – или на санях зимою – тысячью колокольчиками брякали маленькие стеклянные бутылочки, отсюда пустые, а обратно белые, полные, с изменившимся – чуть поглуше – звуком.

Лошади ведь не машины, ходят только чуть побыстрее человека, и порой я шел за Мироном и Машкой, несколько не отставая от них. Кучер дремал, борода его упиралась в рубаху, и Машка, каким-то чутьем понимая это, утишала шаг, давала себе отдых. В эти мгновения я шел поближе, негромко, чтобы не разбудить Мирона, разговаривал с Машкой, жалел ее.

– Правильно, Машка, – например, приговаривал я, – гнать некуда, поубавь шагу, все равно этот сейчас проснется и погонит вперед, передохни малость.

Машка не оборачивалась ко мне, но по ушам, которые шевелились, стояли домиком, видел, что она меня слышит, и понимает, и считает меня своим.

«Эх, Машка, – думал я в такие минуты, – отвезти бы сейчас молоко малышам – это, конечно, дело нужное, да распрячь тебя, да дунуть бы нам вдвоем куда-нибудь за город, к стогу сена, еще не очень заметенному снегом, и забыть бы тебе этого проклятого Мирона».

Я представлял себе очень ярко: сижу верхом на Машке, а она, сразу взбодрившаяся, подтянутая – ну что тебе буланый конь, – несет меня вперед бодрой рысцой, сверху видно все хорошо, и вот мы уже на просторе, на лесной дороге, и

Машка радостно ржет – хоть бы разок услышать ее ржание!

Но Машка тяжело вздыхает, Мирон на телеге начинает ворохаться, я отстаю, и тут опять начинается безжалостная бойня. На маленьком подъеме Мирон непременно просыпается, приходит в себя и принимается лупить кобылу со свежей яростью. Похоже, этот подъемчик, который лошадь и так бы одолела без всяких понуканий, он использует как повод, чтобы поиздеваться над бессловесной тварью. А для людей, для чужих глаз – оправдание: смотрите, как он старается на работе, погоняет лошадь, чтоб лучше шла и на подъеме время не теряла.

Машке хочется уйти от этих ударов, она пробует поджать круп, уйти от ременного, с тяжелым узлом на конце, кнута, но куда убежишь из упряжи да оглоблей? И она прибавляет шаг, качая головой в такт шагам, надсаживается без всякой нужды, выполняя волю своего злобного хозяина.

А тот стегает Машку кнутом – она уже бежит, но он все стегает, словно лупит ненавистного ему врага.

Наутро после тех праздников, когда Мирон, ругаясь, колот дрова, по дороге в школу я наткнулся на его взгляд.

Вот это да!

Глаза у Мирона обладали свойством то расширяться, будто фары, вылезать на лоб, а то прямо-таки прятаться, делаться маленькими, как у рыбки.

Он глядел на меня поутру маленькими глазками – малень-

кими, но какими-то твердыми, упорными – и сам кивал головой. А вдобавок стянул с себя шапку, приподнял над головой.

– Здравствуйте! – проговорил он хриплым и каким-то робким голосом.

«Не хвастайте!» – передразнил я его про себя, но вслух этого сказать не посмел, а покраснел и слабо проговорил в ответ:

– Доброе утро!

– Вот-вот, – обрадовался Мирон, – доброе, доброе...

Хотя утро выдалось пасмурное и холодно-ветренное.

Он топтался на месте передо мной, совсем не похожий на вчерашнего: согнутая, усталая спина, оперся на метлу, глядит вопросительно, словно чего-то ждет. А чего от меня ждать?

Я двинулся вперед, норовя обойти его, но Мирон кашлянул, будто хотел еще что-то сказать, и проговорил:

– Ты, это, на меня не сердчай, старого дурака.

Извинялся за вчерашнее. А чего передо мной-то извиняться? За руготню? Лучше бы перед Полей извинился да перед собственной женой. И еще перед Машкой – наперед. Но надо было что-то ответить. А что я мог сказать? Я легкомысленно пожал плечами: дескать, что за дела? Это, между прочим, хороший способ уклониться от ответа: когда нечего говорить, пожми плечами, и все тут. Понимай как хочешь. Как непонимание, как прощение или еще как.

Мирон услужливо сдвинулся к краю тротуара, и я уже миновал дворника, но вдруг услышал:

– Приходи на конюшню-то!

Я мигом развернулся. «Приходи на конюшню»! Да это же мечта, это заветная моя идея – прийти на конюшню, похлопать Машку по боку, задать ей сена в ясли – есть такое ямщицкое выражение, я где-то читал.

– Когда? – выдохнул я.

– После школы, видать, – ответил Мирон.

Мне очень не хотелось, чтобы он понял мои чувства, этот непонятный человек. Я уже кое-что знал о жизни и не привык так скоро доверять людям. Я молча кивнул, повернулся и погнал в школу, по крайней мере, погнал до угла, чтобы вложить в бег всю свою радость. Только на углу я расслабился и засмеялся. После школы я поглажу наконец-то Машку. Но что за странный человек Мирон?

Да, дорого обошлась мне эта предательская доброта.

В школе я сидел, как на пиле, уроки не лезли в голову – мысли мои были у конюшни, – так что учиться явилось лишь мое тело, а дух витал возле Машки, и, как всегда водится в таких случаях, я получил «плохо» по арифметике просто-напросто потому, что прослушал вопрос учительницы.

Это на минутку привело меня в чувство, но лишь на минутку: я трепетал от одной только мысли, что, пользуясь случаем, попрошу Мирона подсадить меня на лошадь и прокачусь верхом хотя бы по двору. Кто из наших пацанов мог

похвастать таким? А я похвастаю! Приду завтра в школу и всем расскажу: скакал верхом на лошади! Тирьям-тирьям!

После уроков я расправил крылья и полетел в сторону дома. Вообще-то, по-хорошему требовалось оттаранить сперва портфель, разогреть суп на плитке и самостоятельно пообедать, но какими пустяками казались мне эти никому не нужные ерундовые правила!

С ходу я завернул во двор поликлиники, подлетел к дверям конюшни и обмер: в могучих железных петлях висел такой же могучий амбарный замок.

Когда человек сталкивается с чем-то плохим или неприятным, странное дело, он сначала пытается выдумать всякие оправдания. Мол, виноватых нет, есть какая-то причина, чтобы вместо радости и счастья – подвох и неприятность.

Я сразу подумал: Мирон запряг свою лакированную бричку и повез заведующую по важному делу – телега ведь стояла во дворе.

Конечно! Он что, должен бездельничать и ждать, пока какой-то пацан явится после уроков на экскурсию по конюшне? Дел полно! И не таких уж незначительных.

На всякий случай я решил проверить свое предположение и прислонился ухом к стене конюшни. Я услышал лошадиный вздох и внятный, знакомый звук хрупанья сена. Значит, Машка здесь.

Я попробовал успокоить себя и подумал еще, что, может, надо зайти к ним домой, сказать конюху: «Здравствуйте, вот

и я, вы же меня приглашали». Правда, я всегда приходил в маленькую комнатку с окном у потолка, когда Мирона не было дома. Ну что ж, я ведь не малыш, нечего робеть.

Я с силой оттолкнулся от стены конюшни, резко развернулся, полный решимости зайти к Мирону, и замер.

Он смотрел на меня.

Стоял возле телеги, в руке держал вожжи, словно собирался огреть ими, и смотрел с таким видом, будто видел меня впервые. И глаза у него опять изменились: не большие, не маленькие, а средние и будто пустые.

– Добрый день! – сказал я как можно приветливее, но он будто не понял меня.

– Ты здесь чего делаешь? – спросил он и через паузу добавил: – Вот как хлобыстну вожжами!

От негодования я аж захлебнулся воздухом, и это помешало мне толково объясниться. Я кашлял и кашлял, как последний идиот, и дураку было понятно, что человек, который ни с того ни с сего вдруг закашлялся, конечно же, имеет какие-то злонамеренные цели. Чем дольше я кашлял, тем глупее становилось мое положение: на глаза навернулись слезы то ли от кашля, то ли от обиды, не поймешь.

А он-то не кашлял. Он говорил:

– Здесь шляться не положено! – Бросал фразу и умолкал. – Ежели каждый шляться станет, что выйдет? – Он умолкал и через паузу говорил еще: – Это конюшня, а там лошадь. И лошадь теперь – транспорт, оборонный объект.

Я кашляю, он молчит.

– Может, ты подпалить хочешь этот объект?

Я! Подпалить Машку! Гад такой, сам же позвал и сам же издевается!

От негодования, что ли, кашель мой мигом прошел; не скрывая слез, я кинулся к нашему дырявому забору и уже там, на своей территории, крикнул, плохо видя Мирона – размывали, делали мутной, нечеткой его фигуру мои горькие слезы.

– Сами же позвал! – гаркнул я нескладно, путая грубость с вежливостью. – И сам же издеваетесь!

Дома никого не было, и я дал волю досаде. Сперва в голос повыл – сдерживаться нечего, вокруг никого. Потом в ярости швырнул портфель: ведь это Мирон до двойки меня довел! Наконец подлетел к маминой кровати и принялся мутузить кулаками подушку.

Неожиданно, в самый разгар сражения с собственными чувствами, я вдруг подумал, что ведь пьяный Мирон вот точно так же хвощет чурбаны колуном, и расхохотался сам над собой.

Счастливая пора – детство: слезы и смех под руку ходят!

Смех помог мне, я разогрел суп, выучил уроки, почитал книгу, стараясь отгонять мысли о Мироне. Но куда их прогонишь?

Я вышел погулять, и тут же меня окликнул Мирон.

– Парене-е-ек! – звал он меня из-за забора, а я глядел в сторону, будто не слышал. – Эгей, паренек! А я ведь тебя не признал!

Не признал?

Я повернулся к конюху. С недоверием, но повернулся. Лицо Мирона выражало крайнее смущение – борода обвисла, глазки смиренно, с мольбой глядят на меня.

– Ей-богу, – говорил он торопливо, – не признал, старый дурак. Вчера вот гульнул, голова-то, видать, того, ишшо отуманена, да ты проходи в забор-то, проходи! Машка уже заждалася!

Утишая гулкие грохоты сердца, я, точно зайчонок перед удавом, сперва медленно и недоверчиво, потом все быстрее и охотнее двинулся к забору, а потом и к Мирону.

«Не узнал? – сомневался я. – Возможно ли такое? Поди, врет, снова издевается?» Но конюх улыбался мне, глаза виновато взблескивали, он вынул из кармана ключ от амбарного замка, и я приблизился к конюшне.

Теперь можно поверить!

Дверь распахнута, и в черном провале я вижу почти слившуюся с темнотой морду кобылы Машки. Она смотрит внимательно, настороженно, но есть не перестает: ее челюсти движутся не сверху вниз, а справа налево, как будто она не кусает, а перемалывает клоч сена, свисающий с губы.

– Ты тут побудь, паренек, – говорит Мирон деликатно, не желая мне мешать, – а я дрова поколю.

Он отходит, а я вхожу в душистый мрак конюшни. Пахнет сеном, навозом, лошадиным потом, и, смешиваясь, эти запахи образуют дух, приятный моему обонянию.

Эх, Машка! Разве такой должна быть наша первая настоящая встреча, когда я могу погладить тебя по боку, прикоснуться к влажным замшевым ноздрям, потрогать жилу, вздущуюся на ноге?

Ведь днем, на переменке, я приготовил тебе настоящую школьную булку. Да еще какую? Необыкновенную! Неизвестно, кто изобрел этот волшебный способ превращения обыкновенной маленькой булочки в необыкновенную большую, но это был истинно великий человек. Небольшое усилие, и нате вам – огромный плоский кругляш.

Это делалось очень просто. Требовался лишь кусок газеты, и то для гигиены, а если парта чистая, и так можно.

Одним словом, готовясь к встрече с Машкой, я решил угостить ее школьной булочкой. Суп, который выдавали нам в классе, слопал просто так, «наголо», а булку аккуратно вложил между двух промокашек и начал прессовать ее крышкой парты. Бух-бух-бух – хлопала крышка на переменке, и, после каждого жима заглядывая под крышку, я видел, как плющилась булочка, как превращалась из пухлого, но маленького комка в плотный, но тонкий блин, в целое румяное солнце. Сперва она стала больше вдвое, потом втрое, наконец вчетверо.

Все мальчишки в нашем классе жали свои булки до воз-

можных пределов, и всем казалось, что она выросла от этого сжатия во много крат, потом жевали с тройным аппетитом, а я сложил свой кругляш, это желтенькое солнце, в портфель, для Машки, и дома, в слезах и расстройстве, начисто забыл о нем.

Вот так, Машка! Пришел к тебе с пустыми руками.

Побежать домой, взять плоскую булку и принести снова – я подумал об этом первым делом, но тут же отрекся от своей мысли. А Мирон? Вдруг он закроет дверь? Да и объяснять ему все никакой охоты.

– Не горюй, Машка, – прошептал я кобыле, – за мной не заржавеет.

Нет ли тут щелей, кстати? Я оглядел стену конюшни, выходящую на наш двор. Понизу, на уровне моего роста, щелей не было, а вот повыше просвечивала светлая линейка, только уж очень узкая, даже самый тонкий блин не пройдет.

«Ладно, – вздохнул я, – что-нибудь придумаем». Хлопнул Машку по боку и притащил ей из угла охапку сена.

Эх, эх! Надо бы и гребешок захватить, желательно крупный, с редкими зубьями, у бабушки есть такая расческа, только полукруглая, ею, пожалуй, и Машку можно расчесать. А пока я разглаживал, встав на цыпочки, лошадиную гриву руками, пропускал длинные волосы сквозь пальцы, приглаживал на одну сторону.

Машка фыркнула – мне показалось, от удовольствия, мягко повела шеей и толкнула меня. Я свалился в сено и расхо-

хотался – вот она и играет со мной! Я лежал в сене тихонечко, чтобы не привлечь внимания Мирона, смеялся, а Машка перестала жевать и удивленно уставилась на меня.

Машка, Машка, бедная душа!

Я перестал смеяться, вспомнил, как Мирон лупит ее по-чем зря, прижался к лошадиному боку, обнял кобылу, и она, точно услышав мои мысли, тяжело и прерывисто, как человек, вздохнула.

– Жди, – шепнул я, – булку я принесу!

У меня уже была одна идея.

Дверной проем заслоняла фигура конюха. Против света лица его не было видно, он молчал, и я снова испугался.

Мирон помолчал и проговорил мрачно:

– Запрягать пора.

Я испугался опять – ведь он каждый раз, перед тем как запрячь, нещадно лупит Машку. Что же делать, если он примется лупить лошадь при мне?

– Поглядеть желаешь? – спросил меня Мирон.

Я не знал, что ответить. Хотел ли я поглядеть? Еще бы! Но если он станет лупить, лучше не надо.

Я так ничего и не ответил – сжавшись, вышел из конюшни.

Глухо зацокали копыта – Мирон вывел Машку во двор, а я быстро обернулся, приняв твердое решение. Если он ударит ее хоть раз, я скажу ему прямо в лицо, кто он есть, – и будь что будет.

Я видел, как напряглась Машка, подрагивая кожей. Я напрягся тоже. Но Мирон был неузнаваем. Похлопывая кобылу по шее, приговаривая невнятные и хриплые, но мирные слова, он надел на нее хомут, завел в оглобли – и все без единого крика!

Я перевел дыхание и случайно взглянул на крыльцо. Там стояли Поля и Захаровна. Мне стало легче и как-то лучше, я улыбнулся им, а Захаровна помахала мне ладошкой. И вдруг я понял, что они вышли на крыльцо вовсе не случайно. Они вышли посмотреть. Вот только на что?

На то, как Мирон запрягает лошадь? Так они это видели тысячу раз. На Машку? Что здесь невиданного? На меня? Меня ведь Мирон впервые подпустил к лошади. Впрочем, разве я просился?

Тогда на Мирона? На то, как он заводит в оглобли лошадь – без крика и жестокого битья?

Мне стало легко на сердце: ведь вот можно же тихо, мирно, с лаской.

Машка стояла снаряженная в путь, Мирон грузил на телегу сетчатые ящики с пустыми бутылочками, а морщинистая Захаровна и Поля все не сходили с крылечка, разглядывая нас. Наконец телега загружена. Мирон снова заметил меня.

– Хочешь прокатиться? – спросил он.

Машке и так тяжело, и я отказываюсь, трясую головой.

– Да не на телеге, – говорит он. – Верхами!

Не верхом, а верхами – ишь как выразился!

– Прокатись, прокатись! – кричит с крыльца Поля, а Захаровна опять машет мне рукой, натягивая низко на лоб свой белый платок, будто что-то им прикрывая.

Мирон подходит ко мне сзади, подхватывает меня, ставит на оглоблю и помогает забраться на лошадиную спину.

Елки! И правда, сверху видно все по-другому. И двор, и дом наш, и дырявый забор, и поленница, и даже сам Мирон как будто чуточку уменьшается, становится ниже.

– Но-о! – басом кричит конюх, и моя подруга Машка послушно трогает с места.

Меня переваливает с боку на бок от ее медленного хода, а я готов орать в восторге. Но орать нельзя. Во-первых, стыдно. Стыдно признаться, что я первый раз в жизни еду верхом, хоть и на запряженной в телегу лошади. Орать нельзя еще и потому, что, может, раз в жизни Машку запрягли без битья и криков – грубых, матерных, проклятых криков.

Я дотягиваюсь до Машкиной гривы – боюсь свалиться, а все же дотягиваюсь, – треплю ее шею: спасибо! Хотелось бы погладить твои уши – единственное веселое, что есть в тебе, они шевелятся направо-налево, чутко поворачиваются, настороженно слушают мир вокруг, и хотя слушают с опаской и осторожностью, но двигаются весело – веселые уши.

Возле ворот Мирон кричит: «Тпр-ру!», и лошадь останавливается. Мне теперь не помогают, а слезть красиво я еще не умею. Я сваливаюсь, будто куль с мукой, а поднимаясь, шепчу Машке:

– Извини!

Она фыркает. Отфыркивается от моих слов: мол, какие пустяки! Я смотрю на крыльцо, снова вижу Полю и Захаровну и тут понимаю, что их взгляды что-то означают. Конечно, и поддерживают, ободряют, хвалят меня, но не только.

Сдерживают Мирона?

Он проезжает мимо меня, я кричу ему весело, простив его прегрешения:

– Спасибо!

Но он как будто оледенел. Я кричу рядом, и громко, почти в ухо ему, а он ничего не слышит.

Машка доходит до угла, и Мирон вдруг принимается хвостать ее вожжами.

Сердце мое сжимается.

Что за человек? Что за кикимора?

В тот же день, пока Мирон уезжал за детским питанием, я проделал хорошую дыру в стене конюшни. Взял молоток и стамеску из отцовского столярного хозяйства, подтащил лестницу и расширил щель, примеченную днем. Работал я спокойно и хозяйски, ведь эта сторона конюшни выходила к нам во двор. Через дыру можно было даже погладить Машку.

«Форточку» свою я заткнул куском старой пакли, так что и конспирация соблюдена.

Инструмент я аккуратно сложил в положенное место, а лестницу оставил возле конюшни.

Мне все помогало, даже сама природа!

В воздухе уже давно намечались перемены, только пока неясно какие, и вот морозец приуныл, потеплело, зато небо укутали низкие лохматые тучи, похожие на серые домашние тапочки из собачьего меха, и начался настоящий праздник – повалил снег. Да какой! Будто там, в небесной канцелярии, недовыполнили производственный план и вдруг спохватились, открыли все заслонки. Таких крупных хлопьев я в жизни не видывал. Снег так торопился на землю, что падал не отдельными снежинками, а целыми пригоршнями.

В мгновение все вокруг исчезло: забор, дом и даже конюшня, которая была совсем рядом. Сугробы пухли на глазах, и весь мусор, который наскоблил я стамеской, сперва затушевало, а потом совсем стерло с лица земли. Никаких следов!

Не очень-то я боялся этих следов, но на всякий случай, конечно, неплохо, ведь я не хотел, чтобы про мою «форточку» знал хоть кто-нибудь. Даже мама или бабушка.

А снег валил. И душа ликовала.

Как хорошо, когда со всех сторон тебя обступили снежные стены. Будто ты в белой комнате. Хлопья глушат голос – о-го-го! – звук пропадает в двух шагах от тебя, но тебе вовсе не страшно: ты же дома, на собственном дворе, – и наоборот, интересно, ни на что не похоже, даже как будто уютно.

Я вдоволь поглазел по сторонам, под ноги, над собой – будто упакован в снежную коробку, со всех сторон белые

обои, а сверху снежинки несутся прямо в открытые глаза, делается смешно и приятно, – и потихоньку двинулся к забору, проник сквозь него, не спеша, по-хозяйски прогулялся по двору поликлиники и вышел на улицу.

Я хотел подождать возвращения Машки, чтобы принести ей свою расплющенную школьную булочку. И вообще день выдался длинный, полный разных событий, тревожных и радостных, но все-таки этот день получался необыкновенным, и я походил на кувшин, переполненный радостью, как водой.

Мне казалось, я один на улице: никого ведь не видно в сплошном снегопаде. И я запел – сперва потихоньку, а потом во все горло, совершенно забыв, что я все же на улице:

– «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки! Тирьям-тирьям...»

Что-то у меня ничего не получалось дальше этой строчки, да и была ли следующая, не знал.

И тут из снежной стены, как в сказке, выступила заведующая поликлиникой с маленьким портфельчиком и, чтобы лучше видеть меня в этой снежной мешанине, склонилась к моей шапке.

– Мальчик, – спросила она удивленно, – где ты подобрал эту песню?

И густой снег и неожиданное возникновение именно заведующей – все это было невзаправдашним, точно во сне, и я, против обыкновения, не растерялся и не покраснел, а ответил громко и внятно, как на уроке, с таким даже вооду-

шевлением:

– В кино, у артиста Михаила Жарова.

Заведующая походила на жирафу: согнувшись почти пополам, она повернула ко мне ухо, чуть прикрыв глаза, мучительно что-то вспоминая. Потом встрепенулась.

– А ты представляешь, как меняют перчатки? – спросила она строго, внимательно разглядывая меня.

– Не! – ответил я с готовностью. – Вот варежки – представляю! – И будто в доказательство того, что действительно представляю, протянул к заведующей свои руки в потертых варежках.

– Ну? – хлопнула глазами длинная тетка.

– А чо их менять? – спросил я. – Видите, еще крепкие.

Заведующая неожиданно фыркнула – ну почти как Машка, так, не разгибаясь, и фыркнула, подумала еще о чем-то, все еще не разгибаясь, потом все-таки распрямилась и двинулась мимо меня вперед. Мне даже пришлось отступить в сторону, в глубокий снег, – такая она была большая.

Заведующая неторопливо проплыла мимо меня и тут же растворилась в снежной стене.

Оттуда она фыркнула еще раз, а я пожал плечами. И вдруг она запела:

– «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Наступила секундная тишина, и оттуда, где исчезла заведующая, послышался дикий смех.

Она хохотала так, как никто не умел. В принципе ей мож-

но было выступать в цирке и брать деньги за такой дикий хохот.

Мне показалось, что даже снежные хлопья вздрагивали, прижимаясь к земле.

Интересно слушать звуки, когда вокруг ничего не видно.

Стихли раскаты грома – отхохоталась заведующая, не зря говорят: смех без причины – признак дурачины, – а потом я услышал то, чего ждал: звон множества колокольчиков. Сегодня он был не таким, как всегда, еще глуше, еще тише, и я блаженствовал, вслушиваясь в него, пока бутылочки не забренчали совсем рядом. Мимо меня медленно прошла тень Машки, растушеванная снегом.

Я развернулся к дому, представляя себя ледоколом, отважно прорубил ледяные торосы, вытащил дома белую плоскую булочку и не утерпел, откусил кусочек. Белый хлеб волшебнo таял во рту, но я не давал ему легкомысленно проскакивать в горло, растирал мякиш по нёбу, держал под языком. Он не послушался, все-таки проскочил внутрь. От этой дразнилки захотелось есть. Домашний суп варился на голой капусте, его не надолго хватало, и к маминому возвращению с работы я походил на тигра, не кормленного неделю. Но нет, предательство недопустимо, я уже обещал Машке, да и что будут стоять добрые пожелания без поступков?

Я взял булочное плоское солнце, вышел на улицу, влез на лесенку у конюшни, вытащил паклю, и мою руку сразу лизнуло что-то теплое и шершавое.

– Машка, – прошептал я и стал аккуратно подавать в мягкие, деликатные губы кусочки школьной булочки.

На душе было тепло, и очень помогал снег: мы были вдвоем с кобылой. Я жалел ее, приговаривая ласковые слова, и можно было не стесняться собственной нежности: все стирал бесшумный снегопад.

Настала зима, последняя военная зима, но кто знал тогда это?

Машка сменила телегу на сани, и потихонечку, незаметно, работы ей прибавлялось: теперь уже не один, а два раза за утро гонял ее Мирон на молочную кухню за дополнительной едой для самых маленьких малышей.

Я видел лишь это – у Машки прибавилось работы – и жалел ее, вот и все, а мама и бабушка замечали совсем другое – ведь женщины! – и часто про это говорили.

Начинала всегда бабушка, она возвращалась из магазина очень рано, когда я еще не ушел в школу, приходила вся в снегу, продрогшая, отоварив карточки, прижимая к животу сумку с маленькими свертками, но говорила теперь не про еду, а совсем про другое.

– Все больше и больше, – сообщала она, и мама понимающе улыбалась.

Но я совершенно не понимал.

– Чего больше?

– А того! – весело отвечала бабушка. – Женщин с утра

у поликлиники все больше и больше. За детским питанием, понимаешь? Значит, детей рождается больше и больше. – Она разматывала платок, снимала валенки, зацепив носком одного за пятку другого. – Видать, к концу война-то, – улыбалась она.

– Твоими бы устами да мед пить, – отвечала мама, грустно вздыхая.

Что война пошла к концу, и младенцу ясно: Левитан каждый день по радио говорит, что мы сражаемся уже не на нашей земле. Гоним фашистов!

Но у бабушки на этот счет свои приметы. Она объясняет маме, а у меня ушки на макушке.

– Раненые возвращаются, – говорит она. – Пока раненые – и то уже какая прибавка. – Она смеется и уточняет, пожалуй, для меня: – Прибавка детишек!

Я не очень понимаю ее радость, но твердо уверен: раз бабушка радуется, значит, и вправду хорошо. Она меня никогда не подводит.

– Машке работы больше, – вздыхаю я, а бабушка с мамой смеются:

– Побольше бы такой работы!

Но Машка Машкой, у меня с ней дружба, а есть еще Мирон – вражья сила, как бабушка однажды выразилась.

«Сила, да еще коварная», – добавлю я.

Зима установилась, я встал на лыжи и после уроков гонял на своих обрубых с крутых гор нашего оврага. Пока я ка-

тался со средних спусков, дорога у меня была одна, но постепенно, к середине зимы, мастерство мое возросло, и я стал осваивать самый крутой склон. А он начинался от поликлиники, за конюшней. Так что требовалось пролезть в дырявый забор и пройти по двору поликлиники – только тогда можно добраться до вершины горки. Или еще снизу, из оврага, подниматься вверх, но это уж потом, когда скатишься. Для начала же, для первого спуска, мне удобней всего было пройти через Миронов двор. Я и ходил, вовсе не думая, что лыжи мои оставляют след на снегу и след с абсолютной точностью указывает, кто, откуда и когда двигался на этих лыжах. Двор поликлиники был общий, его пересекало множество разного народу, и мне в голову не приходило, что кто-то станет выслеживать меня.

Я одолел забор, двинулся по двору и увидел Мирона. Он сидел на краю распряженных саней, точно на тропе, оглобли смотрели в небо, как зенитки, курил «козью ножку» и нетерпеливо поглядывал на меня, будто ждал. Я вежливо поздоровался.

Он трех не сорвал, небрежно кивнул мне в ответ, я было уже миновал его, как он спросил неожиданно:

– А ты, поди-ка, пионер?

Я мотнул головой. В пионеры мне ровно через год, пока рановато.

– А батя-то у тебя, поди, большевик? – спросил Мирон.

– Аха! – ответил я не без гордости.

Батя у меня большевик, и на фронт он ушел среди первых, добровольцем, а не просто так. Добровольцем – значит, сам вызвался, это же каждому ясно.

– Молодец, – весело похвалил Мирон, и непонятно было, кого он хвалит, отца или меня.

Я ничего не понял из разговора, а оказалось, напрасно. Только оказалось-то чуть спустя. Опрашивает человек, как ему не ответить?

Я кивнул Мирону, добрался до своей горки – езда у меня уже получалась – и не без задней мысли обернулся на конюха: смотри, мол, сейчас слечу вниз. Я еще улыбнулся ему, простофиля, потер, чуточку приседая, лыжами о снег, чтобы лучше скользили, и поехал.

Явился я домой уже в сумерки, когда мама вернулась с работы. Они с бабушкой стояли возле нашей печки, и я сразу насторожился: обе сложили руки кренделями, лица хмурые, глядят на меня выразительно – с какой-то такой брезгливостью.

Мысленно я окинул прожитый день, тщательно в нем порылся, как в собственном кармане, отыскивая там прорехи и прегрешения, но ничего не обнаружил – деяния мои были святы и беспорочны: дневник украшала крупная, как хороший стул, только в перевернутом виде, четверка по арифметике, потом я заскочил в библиотеку, вовремя ел, катался на лыжах, и вот он я, весь как на ладони.

Мама сдвинула брови, нахмурилась, задала первый во-

прос. Я сразу понял: идет серьезное дознание.

– Как ты мог? – спросила мама, а бабушка только вздохнула, будто я уже в тюрьме, и качнула, осуждая, головой из стороны в сторону.

– Что? – спросил я, заливаясь краской.

Да, да! Есть на белом свете безвинные люди – а их почему-то больше всего среди маленьких и честных, – которые при взгляде в упор или из-за какого-нибудь дурацкого вопроса начинают яростно краснеть, просто костром полыхать, и, хоть ни в чем не виноваты никто им поверить не может по глупой, пусть и древней поговорке: на воре шапка горит. А тут не шапка – лицо. Полыхает – и хоть умри, никогда своей невиновности не докажешь.

Я даже потрогал щеки холодными с мороза руками, чтобы остудить их. Это только прибавило уверенности в моей вине.

– А еще ученик! – сказала бабушка.

– Ха-ха, – попытался я успокоить себя, но это было совершенно не убедительно даже для меня самого.

А маме и бабушке этот дурацкий хохоток подтвердил правоту их подозрений.

– Вокруг столько хулиганства! – воскликнула мама, и в ее глазах засияли слезы. – Но от тебя... Неужели и ты! Старому человеку!

Я начинал приходить в себя. Когда непонятно, то легче. Я совершенно не понимал, о чем идет речь, и, таким образом, испытывал унижение.

– В чем дело? – проговорил я фразу, вычитанную в какой-то серьезной книге. Она мне нравилась своей определенностью. Я дал себе слово запомнить ее на всякий случай, и случай этот настал.

На моих родных женщин фраза произвела ожидаемое впечатление – ряды заколебались. Мама и бабушка поглядывали на меня по-прежнему с осуждением, но руки уже не держали, как судьи, калачиком.

– В чем дело? – проговорил я мягче, вкладывая в слова озабоченность, разбавленную непритворным интересом.

– Что произошло у вас с Мироном? – уклонилась от прямого ответа мама.

С Мироном? Что у меня могло произойти с Мироном?

– Он спросил, не пионер ли я, – пожал я плечами, – а потом спросил, большевик ли отец.

Мама и бабушка переглянулись, и я понял, что дал им пищу для дополнительных размышлений. Они помолчали.

Первой собралась с мыслями бабушка.

– А потом? – спросила она.

– А потом я подошел к горе и съехал вниз.

Ах эти женщины! Не поймешь, откуда что берется! При чем тут Мирон, мое катание, зачем эти обходные маневры – липовая стратегия? Все-таки не зря среди генералов нет женщин. К чему они клонят? И уж клонили бы скорее.

Жар, видно, схлынул с меня. Мне не терпелось добраться до сути их замысла.

– Что дальше? – спросил я, наступая.

– Нет, нет! – Мама протянула в мою сторону вытянутую руку, ладонью точно останавливала меня, мой торопливый бег. – Что было перед этим?

– Я говорил с Мироном.

– А между? – Мамины глаза сверлили, щеки разругались, будто она добралась до главного. – Между Мироном и тем, как ты скатился?

Что там было? Я пожал плечами, но теперь уже совершенно спокойно, не краснея, искренне теряясь в догадках: что там могло происходить?

Я молчал, и вдруг мама, моя дорогая, любимая мама произвела нечто непередаваемое:

– А вот так? – воскликнула она и смешно потрясла, извините, тем, что называют нижней частью туловища, изображая какое-то неприличное, действительно оскорбительное движение.

Я помотал головой. Шарик, то есть глаза, наверное, катились у меня где-то на лбу, рот распахнулся от удивления, и вообще, похоже, весь мой вид выражал такую неподдельную искренность, такой интерес, такую пораженность, что в маме что-то щелкнуло и переключилось.

– Как, как? – воскликнул я, но в маме уже щелкнуло и переключилось. Она что-то такое поняла.

И тут только до меня доперло. Я все понял! Меня обвиняют в оскорблении, в хулиганстве, в каком-то невероятном

грехе, но никто точно не знает, что означает моя непристойность.

Я захохотал, как заведующая поликлиникой, заржал, как сумасшедший конь, я вспомнил, что я делал между разговором с Мироном и тем, как скатиться.

– Я потер лыжами о снег, – сказал я своим прокурорам, – вот так! – И показал на полу, как трут лыжами о снег, чтобы они лучше скользили.

Что тут произошло! Мама и бабушка – теперь уже они, мои дорогие, – вспыхнули от причесок до самых воротничков. Они полыхали ярким пламенем, и им было стыдно передо мной. Такого еще не бывало в моей жизни – обычно стыдиться следовало мне. А теперь стыдились они.

Первой опамятовалась бабушка.

– Будь он проклят, этот Мирон! – сказала она и даже сделала вид, что плюнула. На самом деле бабушка никогда бы не могла плюнуть в комнате. – Погрешить на мальчонку, это надо же.

– А мы-то, мы! – воскликнула мама, отворачиваясь от меня. – Хороши с тобой!

Это был неприятный вечер. Может, самый неприятный за все мое детство. И мама, и бабушка, и я принимались болтать о чем-нибудь серьезном или неважном, но даже болтовня неловко обрывалась сама собой, и наступало молчание. Выходило так, что не болтовня, а молчание было главным для каждого из нас, казалось, что, и болтая-то, мы молчим

и произносим слова только для того, чтобы прикрыть ими молчание, точно голые люди прикрывают тело тряпьем, чтоб не было стыдно.

И подумал, что эта проклятая кикимора Мирон добился своего. Не удалось наказать меня, так он наказал всех троих. И если ему не удалось заставить сомневаться во мне маму и бабушку, то зато удалось заставить меня укорить их, хоть и про себя, за недоверие ко мне.

Да, человеческое коварство многолико и разнообразно. Притворяясь благом, оно ранит людей, сеет подозрительность и недоверие, главных врагов любви. И надо немало сил и ума, чтобы выполоть их, эти недобрые ростки, будь они прокляты.

Только уж перед сном все мы пришли в себя, точно кто-то вспугнул наши души, и они лишь теперь возвращались на место.

Я лег в постель, мама наклонилась ко мне, поцеловала в переносицу и прошептала, чтоб не слышала бабушка:

– Прости, сынок.

Она ушла в кухню, а ко мне на цыпочках, чтобы не слышала мама, подобралась бабушка и, склонившись, прошептала в самое ухо:

– Бес попутал!

– Бабуш! – прошептал я. – А что это означает?

Бабушка махнула на меня рукой. Я помог ей – засмеялся. Она тоже хихикнула. За дощатой переборкой прыснула ма-

ма.

Мы хохотали, прощаясь с прожитым днем, прощаясь с Мироном, его поклепом, глупой доверчивостью женщин и моей возможной неосмотрительностью.

– Старый хрыч! – воскликнула бабушка.

– Старая кикимора! – поправил я.

Насмеявшись, мама сказала задумчиво:

– А ведь не зря он спросил про большевика, чует мое сердце!

Доброта обладает опасной властью, заставляя забыть зло. Доброта склоняет к прощению. Но ведь порой прощение – беда. Не для того, кого прощают, нет. Тому, кто прощает.

Поутру Мирон сорвал передо мной свой треух.

– Молодец! – воскликнул он. – Булки не пожалел!

Я содрогнулся: откуда он узнал? Мирон понял мое удивление, разъяснил:

– Накрошили вы с ней маленько. Я увидел.

«Глазастый!» – про себя ответил ему я.

– А вот дырку ты прорубил зря! – жалобно проговорил он. И начал наворачивать: – Дождь зальет, снегу навалит. Опять же казенное имущество – ныне знаешь как строго! Но ты добрый, добрый! Молодец!

Я ничего не говорил, ничего не отвечал, я был желторотым воробьем, возле которого прохаживается кот да ласково мурлычет, – и страшно, и интересно. Выслушав одобрения, смешанные с далекой угрозой, я обошел Мирона, а по дороге

в школу, размышляя над его словами, решил по наивности, что ободрения в них все же больше, чем угрозы. Вон сколько раз повторял: «Молодец, молодец», даже по плечу похлопал, когда я огибал его.

На прощание Мирон сказал:

– Заходи к Машке-то, проведай, как захочешь.

«Как захочешь»! Выходит, если верить Мирону, дверь на конюшню теперь всегда открыта для меня.

Я старался обрадоваться, хотел запрыгать от радости, но что-то не радовалось и не прыгалось. Вчерашняя ранка затягивалась не сразу, хотя и затягивалась, должна затянуться: ведь я вроде бы как связан с конюхом.

С тех пор как я прокатился на Машке, а потом свалился с нее кулем, мое положение в школе переменилось: народ наш считал меня лихим всадником – ведь про куль-то я умолчал. И про многое другое в классе не знали. Зато знали всякого такого, что я и сам-то слышал во второй раз: второй от самого себя, в школе, а первый из тома довоенной энциклопедии, которую читал каждый вечер, готовясь к утру.

Нет, что ни говори, а страшная штука – слава. Про Машку-то, про то, что на ней прокатился, сказал единственному Вовке Крошкину – я даже и хвастаться не хотел, просто сказал: «Вчера катался на лошади», но и этого хватило. К середине уроков весь класс уже знал, что я скакал на коне. Рядом, мол, у меня конюшня, вот я и уговорил конюха. Не станешь ведь махать руками и каждому честно объяснять, как

было дело. Я сперва помучился, а потом плюнул: невелика беда! Я ведь прокатился? Прокатился! А как потом слезал – не так уж, оказалось, важно для нашего класса.

Только зря думал, что беда невелика.

Теперь каждый день приходилось читать в энциклопедии про лошадей. И не просто читать – готовиться. Почище, чем к урокам.

Каждый день – на переменке или перед уроками – меня теперь окружали люди, всерьез интересующиеся лошадьми. И я должен был им рассказывать, да не просто как-нибудь, а каждый день подавай что-нибудь новенькое, будто я знатный наездник, в самом деле. Или конюх.

Кашу заварил все тот же Вовка. Я ему сказал, что самые первые предки лошадей были ростом с кошку. Он выпучил глаза, завыл, надо мной издеваясь, изобразил, что падает в обморок, а на уроке – бух! – поднимает руку и спрашивает, верно ли, что когда-то были такие крохотулечные лошадки. А учительница его как обухом по голове:

– Правда. И теперь такие есть, чуть побольше – с собаку. – Еще улыбнулась: – Можно в сумке носить.

Ну и пошло. Вовка весь урок проерзал, на меня радостно косился, а едва звонок прогремел, начал громко приставать: расскажи да расскажи еще что-нибудь про лошадей. Вот я и старался. Да к тому же мне в голову пришло про лошадей рассказывать в форме вопросов – это ребятам очень почему-то нравилось.

– Знаешь, – спрашивал я, – сколько раз надо ее кормить? – Речь, понятно, шла о лошади. И Вовка мотал головой. – Два раза! – чеканил я. – А знаешь, когда?

Вовка или кто-нибудь другой с яростной готовностью мотал головой.

– Утром и вечером.

И теперь уж никто не сомневался в моих словах, не пререкался и не спорил. От частого употребления слово «знаешь» превратилось в «знашь».

– Знаешь, сколько раз поить?

Голова или даже сразу несколько голов мотались передо мной и мне это, скажу честно, нравилось.

– Три! – говорил я.

– Знашь, какие типы лошадей в армии? – Выдержав паузу и приняв мотание голов как дань своему авторитету, я перечислял, прикрывая глаза: – Верховой, артиллерийский, вьючный, обозный... Знашь основной показатель лошади?

Слова я употреблял серьезные, тоже из энциклопедии, но это никому не казалось неестественным, наоборот, я только ярче освещался лучами славы, будь она неладна.

– Аллюр.

– Аллюр три креста! – с восторгом прошептал Вовка слышанное в каком-то фильме.

Я тоже помнил это выражение, но взглядывал на друга с укоризной – экий ты несерьезный человек, мол! – и пояснял:

– Есть быстроаллюрные и медленноаллюрные. – Я входил

в штопор – приступал к высшему пилотажу: – Знашь, какие быстроаллюрные?

Класс – уже весь класс слушал меня – мотал головами.

– Верховые и рысистые... Знашь, какие медленноаллюрные? Тяжеловозы.

Я входил в пике и блистательно выводил из него свой самолет. Я щеголял редкими знаниями, и мало кто понимал, отчего я порой тяжело вздыхаю. А я жалел учительницу Анну Николаевну. Выходило, я, как она, готовился к своим жеребьчьим урокам и уже был на последнем дыхании: мои энциклопедические знания кончались вместе с короткой статьёй в пухлом томе. А учительница – как она? Говорит всегда интересно, все помнит и знает. Может, ночами не спит, готовится?

Кроме этого, я думал о Мироне. Ссориться с ним, выходило, нельзя. Кончится энциклопедия, что говорить стану? Придется ведь к нему идти!

Ясное дело, о него и обжечься можно, что там я – вот Поля с Захаровной от него маются, близкие его, опять же он хозяин Машки, и если лошадь меня интересуется, то я тоже что-то сделать должен, чтобы у него доверие заработать.

Но вот как?

Он приглашал меня – ласковый стал. «Заходи да заходи». Я заходил в конюшню пару раз, но неуверенно, с неловким чувством, вроде как прихожу на правах гостя. А мне хотелось прав других – хозяйских.

Однажды меня осенило. Шел из школы прямо по дороге – тротуаров в войну не чистили, – и озарило!

Лошадей было в городе много, я уже говорил – главный транспорт, а транспорту требуется заправка, то есть сено, и вот это сено без конца возили по улицам – обозами или на одиночных подводах. А когда сено везут, оно, как ни старайся, потихоньку падает – клочками, побольше и поменьше. И я решил собрать для Машки сенца с дорог.

Бросил дома портфель и допоздна бродил по улицам – накопил маленький пучок. Сразу Машке не понес, сложил возле конюшни, решил: тут будет мой стог.

Когда бродил по улицам, улыбался своему сравнению: вот Машка возит дополнительное питание маленьким малышам, а теперь я ей соберу дополнительное питание. Я думал еще о том, что, когда соберу внушительную копну, Мирон непременно меня зауважает. Именно такой поступок он может и должен по достоинству оценить.

Не раз и не два видел я, как старухи, женщины и даже девочки подбирали это дорожное, ничейное сенцо, всегда еще думал: кому оно? Спросить их самих – не хватало любопытства, а теперь вот и мне потребовалось сено.

Собирать клочья надо было с толком, в какую-нибудь сумку, а я приспособил собственный портфель. Гнал домой, выкладывал учебники и тетрадки и шел по городу, бдительно осматривая дорогу.

Удивительное дело! Как только начинаешь заниматься

всерьез чем-нибудь даже очень простым, выясняется много такого, чего ты вовсе и не предполагал. Например, уже дня через три я понял, что город делится на участки – да, да! По улицам, которые ближе к реке, бродила бровастая девчонка в пуховой шапке, которая кончалась длинными, до пояса, ушами с розовыми колбочками. Щеки у девчонки горели цветом пуховых помпошек, а черные глаза под черными бровями при моем появлении настораживались. В левой руке она держала небольшой полотняный мешок, а в правой веник. Веником черноглазая подметала дорогу, сгребала в кучку все травинки и бережно укладывала в мешок.

Сперва, заметив девчонку, я повернул просто так, не желая ей мешать, а на третий раз понял: да это же ее участок!

На улицах, дальних от реки, хозяйничала старуха в фетровом малиновом капоре, из-под которого виднелся белый платок. Старуха, видать, была побогаче, ходила без веника, наклонялась только за ключьями, и та девчонка с берега могла бы тут немало намести.

Так что у реки была девчонка, возле поля – старуха, на горах, которые окружали наш овраг, еще две старухи, и я, оказалось, действовал в окружении. Хорошего тут мало, и я решил перейти в наступление, прорвать кольцо. Нелегко прорывать окружение, когда вокруг враги. А когда не враги? Не друзья, но ведь и не враги...

Я начал атаку с девчонки, все-таки легче. Пошел в ее сторону. Наверное, она тоже сметала сено после уроков – еще

издалека увидел пуховую, круглую, как шарик, голову.

Заметив меня, девчонка выпрямилась, глаза ее вновь насторожились. Мне, конечно, следовало подумать, как прорывать окружение, подумать с толком, а не лезть нахрапом на чужую территорию. Но стратегия в моем шарабане позабыла про тактику, и на кончике языка у меня болталась одна-единственная заготовленная фраза, которую я должен сказать, если девчонка начнет задираться. Фраза была такая: «А чо, твоя, что ли, улица?»

Круглоголовая и черноглазая стояла, выпрямившись, напротив меня – в одной руке мешочек, в другой веник, – глядела настороженно, и мне пришлось обойти ее, потому что стояла она прямо посреди дороги. Когда я ее обошел и, таким образом, прорвал окружение, она сказала с неожиданной заботой в голосе:

– Да там пусто, я все вымела!

Вот она, победа тактики. Прорываться, конечно, можно, только надо точно знать – зачем. Я споткнулся и засопел, не зная, что делать, чувствуя себя последним болваном. А девчонка спросила, улыбаясь:

– У тебя кто?

Я не понял, и она уточнила:

– У нас кролики, а у тебя кто?

– Лошадь, – пробормотал я в смущении.

– Не может быть! – ахнула девчонка. – Ты не шутишь?

– Какие тут шутки!

Я развернулся к своей территории, а девчонка воскликнула мне в спину, искренне пожалев:

– Бедный! Сколько же ей сена надо!

Я поежился. Она подумала, что лошадь в самом деле моя и весь корм для Машки я собираю на улицах. Действительно, можно пожалеть.

В общем, прорыв окружения пользы не принес, и я решил заняться разбоем.

Надо признаться, это был шаг отчаяния. Энциклопедический источник иссякал, я приступил к самому трудному: учил названия пород, а это было все равно что учить иностранный язык. С трудом выговаривал я незнакомые звуко-сочетания, означавшие разновидности лошадей: брабансон, першерон, клейдесдаль, арден.

Из такого сложного штопора можно было и не выбраться, я рисковал не чем-нибудь – репутацией, а репутация, как известно, дается человеку только раз в жизни. Привяжется с самого детства к тебе слава, что ты шалопай, или враль, барон Мюнхгаузен, или что тебе верить нельзя – наобещаешь и не выполнишь, или что ты тупица, ни черта ни в чем не понимаешь, так ведь и до самой старости от такой репутации не отмоешься. А если отмоешься, все равно рано или поздно встретишь своего одноклассника, может, уже седого, хромого, старого, обрадуетесь друг другу, приветливо поговорите о том о сем, а разойдясь, подумаете с подозрением друг о друге – ты о нем: «Ведь был враль, неужели таким и

остался?» А он о тебе: «Был когда-то шалопай, вот небось все от него стонут».

Нет, что ни говори, репутация – серьезное дело, к ней серьезно с детства надобно относиться, чтобы, встретив друга, подумать о нем: «Хороший парень был, честный, слов на ветер не бросал». А он чтобы при этом подумал: «Этот человек честный, никогда не соврет, скорее умрет!»

В общем, энциклопедические знания о лошадях иссякли, точно струйка в кране, если лопнул водопровод, а репутацию с детства испортить – страшное дело, и я решил, собирая сено, использовать крайние меры. Вот в чем они заключались.

Когда двигались сани с сеном, возчик обычно сидел наверху, на самом стогу, или шел рядом с возом. Но ведь он мог идти лишь с одной стороны, не так ли?! Вот и получалось, что второй бок лохматой, вкусно пахнущей горы не защищен и его можно атаковать. Правда, при этом следовало обеспечить пути отступления – на всякий случай. Лучше всего вылететь из-за укрытия, например из-за угла дома с проходным двором. Лошадь с возом идет медленно, равняется с тобой, ты вылетаешь из укрытия, отдираешь клочок сена от бока и тем же манером исчезаешь во дворе. Чуть что, можно пробежать двором и выскочить на другую улицу. Вообще такие случаи были, когда извозчики гонялись за похитителями сена. Но только в одном случае: если шел обоз.

На обоз лучше не нападать. Обоз движется под охраной. Сверху бдительные наблюдатели, а по бокам возле обоза или,

того хуже, за каким-нибудь возом топают пешком старики или парни, а уж в хвосте непременно один или два обеспечивают охранение. На обоз нападать рискованно, хотя, говорят, нападали отчаянные мальчишки – у кого матери козу, например, держали или еще какую живность, – но они нападали группой. Я же действовал в одиночку, тайком ото всех, даже от Вовки Крошкина.

Ох, как дрожала моя душа, когда я в первый раз атаковал воз: еще немножко, и задохнусь собственным страхом. Лошадь поравнялась, я выскочил из укрытия, подлетел к сену, вцепился в бок шуршащей горы, дернул на себя – не тут-то было! Сено оказалось плотным, уложенным добротно, я растерялся, затрепыхался, спасительное укрытие оставалось позади, а я со своими силенками никак не мог вытянуть нужную мне охапку. Видать, ухватил больше, чем мог выдрать.

Мгновение – или вечность? – я боролся с сеном, наконец повис на нем всем телом, отодрал солидный клок, упал в снег, но тут же вскочил и драпанул через сугроб к укрытию.

Это был рискованный ход – отступить по сугробу, и я потом всегда убегал по тропкам, благо их было много натоптано в городе, где все – пешеходы.

Возчик даже не шелохнулся. Его фигура, укутанная в тулуп, напоминала сноп, но сноп был объят паром, дымом, буд-то рядом с лошадью двигался какой-то странный паровой механизм.

За неделю я наразбойничал немало сена, оно грудилось

возле конюшни небольшим стожком, и настал миг, когда я решил преподнести его Машке – конечно же, в обязательном присутствии конюха.

Мечтая об этом, я, как часто со мной случалось той счастливой порой, крепко фантазировал. Мне меньше всего хотелось события прозаического – приволок сено, охапкой больше, охапкой меньше, что толку? Машка все-таки не голодала, и я мучительно изобретал, как бы преподнести свой подарок поэффектнее, позаметнее.

И придумал.

Я решил сделать сенный торт. В бабушкином хозяйстве были шелковые нитки для вышивания под ласковым названием мулине. Вообще-то нитки тогда ценились чрезвычайно, на рынке катушка обыкновенных черных или белых ниток, как и иголки, стоила больших денег, и я, понятное дело, знал об этом, как знал и о том, что бабушка планирует какое-то грандиозное вышивание нитками мулине – нечто невероятное, потрясающее, может быть, даже целую картину, например на подушке. Ты, допустим, ложишься спать, а у тебя под головой картина Шишкина про медведей, и тебе во сне начинает сниться этот лес и эти медведи, только в живом виде, ты не знаешь, куда от них укрыться, тебя бросает в пот, и потому не так, например, холодно, если дело происходит зимой и печка сегодня была не топлена из-за отсутствия дров. Вот такие эффекты от вышитой подушки.

Это, конечно, шутка, я эту шутку выдумал сам для се-

бя, чтобы оправдать собственный поступок, взять у бабушки мулине зеленого цвета и увериться в том, что вышивать подушки – не такое уж значительное дело. Во всяком случае, по сравнению с тем, которое готовил я.

А я придумал торт для Машки. Утоптал сено таким кругляшом, связал его – немало попотев, кстати, – зеленой ниткой мулине, ее в зеленом сене совершенно не видно было; я истратил целый моток, но сварганил кругляш, который хоть на одной руке носи – такой он красивый и выразительный.

Потом я выждал, когда во дворе поликлиники появился Мирон, одолел забор и, возложив сено себе на голову, двинулся к конюшне.

Может, это было не очень прилично, да и отношения с Мироном такого, в общем, не позволяли, но очень уж эффективным оказался мой торт, и я не удержался – затрубил марш.

Мирон насторожился – не понял сперва, что это к нему движется, – потом разглядел меня, покачал головой: неясно, то ли одобряя, то ли осуждая.

Я свалил санный торт с головы, чихнул от него три раза и проговорил:

– Это Машке к дню рождения!

Мирон крякнул, словно его кто под дых ударил.

– К дню ангела, значит?

Он помолчал, потом часто-часто задвигал бородой. Ока-

залось, смеется. Но так, словно смех свой под бороду прячет.

– К дню ангела, – подтвердил я.

– А сено-то, – все двигая бородой, не спросил, а как-то гортанно выкликнул он, – а сено-то где взял?

– Да на дороге, – махнул я рукой: дескать, велика ли забота? – За обозами подбирал.

Он перестал трясти бородой, уставился на меня рачьими вытаращенными глазами, будто на сумасшедшего, начал, как попугай, переспрашивать – все не верил:

– Подбирал?

– Ну!

– Так вить скоко!

– Ерунда!

– Ну и ну!

Что-то с ним происходило, что-то бурлило, кипело в нем, как в котле. Я и раньше замечал, что руки у него всегда дрожат – поколи-ка столько дров! – но теперь они просто тряслись. Конюх держал в руке «козью ножку», свернутую из газеты, и дымок выписывал в морозном тихом воздухе витую нить.

Мирон взял кнут и – я даже вздрогнул от неожиданности – хвостнул им по снегу. Снежная пыль взметнулась в воздух.

– Надо же! – сказал он хрипло. – Это надо же! – И опять хвостнул снег, будто злился. А говорил совсем другое: – Ну, молодец! Это надо же!.. Надо же!..

Я не знал, что делать: рассмеяться или убежать? Страш-

новато делалось от таких похвал.

Он бросил кнут и подошел ко мне. Я разглядывал конюха снизу вверх, разглядывал его серую бороду, красное от морозных ожогов и солнца морщинистое лицо, рыжий трехух, затасканную телогрейку – сильного, злого, непонятного великана – и думал, как бы вильнуть в сторону, отойти от него, а если потребуется, драпануть. Но конюх вел себя смиренно, лишь оглядывал меня сверху вниз с таким же, как я его, непониманием.

– Неужто, – спросил он вдумчиво, как бы удивляясь, – ты так крепко лошадь любишь? Ведь ты городской!

Я хмыкнул – разве не ясно? – но не выбрал никаких слов ему в ответ, просто хмыкнул и пожал плечами.

Он отшагнул от меня, повернулся боком, точно открывая дорогу, и проговорил дрогнувшим голосом:

– Ну, поди к ней! Поди!

Мирон будто нарочно оставил нас вдвоем.

Машка, увидев меня, шумно вздохнула – пожаловалась на судьбу. Я протянул вверх руку, погладил ее за ухом, как собаку. Собаке это нравится, а лошади не понравилось – она потрясла головой, отряхнула мою руку. Но Машка была кобыла деликатная, чтоб я не обижался, она вдруг сунула мне за воротник свою морду, будто хотела меня приласкать, а я от такой ласки расхохотался. Влажные, чуткие, бархатные ноздри щекотали шею.

Я был счастлив. Ведь Машка играла со мной! И что она

еще выкинула! Взяла меня за козырек меховой шапки – а он то отгибался, то загибался, бабушка всегда ворчала, что я этот козырек все отрываю, сколько она ни пришивает, – так вот кобыла ухватила меня за этот козырек и пожевала его! Да с такой силой ухватила, что и меня вместе с шапкой к себе подтянула!

Я захохотал в полный голос и упал прямо в свой сенный торт, а когда пришел в себя, мне показалось, Машка тоже улыбается.

Лошади ведь не умеют смеяться, и она улыбалась одними глазами. И кивала мне головой!

На смех пришел Мирон, и я сделался серьезным. Настала пора приступать к делу.

– Дядь Мирон, – обратился я вежливо, – а какой она породы?

Конюх пожал плечами.

И я тогда спросил:

– Может, першеронка?.. Арденка?.. Брабансонка?..

Мирон разглядывал меня, пораженный.

– Это чего? – спросил он, и я зарделся.

Кто же знал, что между теорией и практикой лежит бесплодная пустыня неуверенности и надо еще немало сил, чтобы одолеть эту пустыню.

Потоптавшись, я показал на Машкины копыта.

– Дядь Мирон, а не больно?

– Чего? – не понял он.

– Когда куют?

Он засмеялся. Это было понятнее, чем мудреные слова, которые я сам едва выговаривал.

– Гвоздями? – спросил я.

– Вот экими! – Он показал половину желтого прокуренного пальца, похожего на крепкий сучок. Ничего себе гвоздик! – У нее копыто, как у нас ноготь, понял? Ноготь режешь, ведь не больно! Гляди! – Он постучал Машку по ноге, заставил ее согнуть колено, отер рукавом блестящую подкову.

– А вы подковать можете? – допытывал я.

– Не-е! Конечно, мудреного ничего нет, но знашь как? – Он сказал слово «знашь», будто я в школе. Но теперь уже я, точно ослик, замотал головой. – Неправильно подковать, – Мирон, словно учитель, махал указательным сучком в такт своим словам, – все одно что сапоги не своего размера надеть. – Вот разговорился! Первый и единственный раз видел я конюха таким разговорчивым. – Ноги разобьешь – далеко не уйдешь.

Я слушал с распахнутым ртом – самый примерный ученик.

– Это в кузне, – закончил он, – кузнец делает. Мастер.

И умолк. Но ненадолго.

Запрягая Машку, чтоб отвозить бутылочки, сказал:

– Сейчас сам править будешь!

Нет, это был самый странный человек из всех, кого я знал и прежде и потом. Видно, ему не давала покоя какая-то навязчивая мысль, а вернее, непроходящая обида; она и заставляла его жить как в кукольном театре – не жить, а дергаться. Обида клокотала в нем, угнетала его самого, делая рабом невидимой и неизвестной людям страсти.

Мне казалось – уже потом, взрослому, – он жил обычными чувствами лишь считанные минуты, потом отчаяние опять захлестывало его, и он снова становился самим собой: нелюдимым, беспричинно жестоким волком.

Несчастный или злобный взрослый не так очевиден другому взрослому своей несчастливецтвостью или злобой – он маскируется, прячет себя. Детей не таятся. И неясное взрослому прекрасно известно ребенку. Все дело лишь в том, что он не умеет обозначить словами и даже мыслями видимое ему. Но потом, со временем, становясь взрослым, человек без конца возвращается в детство, прилагая ум и знания к тому, что давным-давно лишь только почувствовал. Смыкаясь, прошлое и настоящее дают понимание. То, чего так недостает детству.

Я ничего не понимал!

Да и как это можно понять?

Он запряг Машку, выехал на улицу и – о, блаженство! – отдал вожжи мне, а сам пошел следом за санями. Если бы что случилось, он не смог бы помочь мне. Но это означало только одно: он не боялся за меня, нелюдимый конюх Ми-

рон! Вручал хозяйские права.

Сначала я сидел невероятно напрягшись.

В вытянутых, одеревеневших руках держал я вожжи, спина немела, и даже ноги превратились в железные кочережки и ничего не чувствовали. Каждое мгновение я готов был потянуть вожжи на себя, закричать басом на Машку «тпр-ру», и мне в голову не приходило, что крик мой будет таким же грубым, как у конюха.

А он шел позади и изредка подавал мне советы:

– Руки-то опусти!.. Спину-то согни, обессилешь!

Через квартал я чувствовал себя уверенней, мне все улыбалось: и солнце, и удача. Одолев квартал, я увидел белый шарик с розовыми помпошками. Черноглазая даже остановилась, чтобы разглядеть меня получше, и я ей крикнул:

– Привет!

Машка фыркнула, присоединясь ко мне, и девчонка улыбнулась в ответ. Теперь она знает, что я ее не обманывал. Крошкин бы еще попался! Но Крошкин не показался. Зато на углу стояла бабушка. Она, конечно, не стояла, а шла, но, увидев меня, обмерла, остановилась будто вкопанная. Представьте себе: стоит старушка, прижала к животу сумку с продуктами, и, пока я еду мимо нее на лошади, она поворачивает голову вслед за мной. И молчит. То ли поражена, то ли не хочет конфузить меня перед конюхом.

Я проводил бабушку глазами и увидел, как Мирон приподнял перед ней свой мохнатый треух.

Пустые бутылочки колотились у меня за спиной тысячью колокольчиков, я блаженствовал, доверяясь лошади, и думал с укором: «Ну ведь идет же Машка без всякого кнута! Зачем ее бить? Да надо сломать этот кнут, порвать ремень с большим узелком на конце, вышвырнуть его вон! Ведь ты же можешь быть добрым, Мирон, ну, пусть не добрым, так хотя бы нормальным. Как сейчас!»

Да, детство доверчиво, а доброта обладает опасным свойством забывать зло.

Знал бы я, чем ответит конюх на мою доверчивость!

Вечером обнаружилась пропажа ниток с нежным именем мулине и произошло обсуждение моего извозничьего дебюта.

Кажется, вся жизнь мамы и бабушки в эпоху моего детства начиналась и заканчивалась единственной мыслью: как уберечь меня от дурных влияний. От улицы, плохих людей. От влияния отдельных личностей из нашего класса и таинственных злодеев всего мира. На эту тему говорилось много и охотно, с обращениями ко мне, укорами и назиданиями и просто так, в воздух, как бы насыщая даже самую атмосферу грозными мыслями о легкой возможности сбиться с правильного пути.

Что и говорить, Мирон пил, матюгался, бил лошадь и вообще был раскулаченным кулаком, а тут еще моя необъяснимая любовь к кобыле и всем лошадям – словом, возможность инфекции, как порой выражалась мама, возрастала во мно-

го крат. И вот на тебе! Я сижу на облучке, понукаю Машку. Это же за просто так не происходит. Значит, Мирон остался доволен мною почему-то.

Почему? Мама и бабушка аккуратно, но каждая на свой манер, пытались выведать ответ на этот единственный вопрос. А я не сознавался. Рассказать про сено для меня, простофили, означало рассказать и про мулине – будто одно нельзя отделить от другого, – а я этого не хотел.

Мы окружили стол: я читал книгу, мама гладила белье, а бабушка перебирала свои узелки и коробочки – искала зеленое мулине.

Время от времени она спрашивала маму – уже, пожалуй, в двадцатый раз:

– Ты не видела зеленое мулине?

И мама в двадцатый раз, терпеливо, чтобы подать мне положительный пример, отвечала своей маме:

– Нет, не видела.

– Я прямо остолбенела! – в двадцать пятый раз восклицала бабушка, и я был снова и снова готов слушать это восклицание: оно мне нравилось. – Погоняет лошадь! Понукает, как настоящий извозчик!

В бабушкиной интонации удивление смешивалось с примитивным женским испугом и тонким педагогическим неодобрением. Подразумевалось таким образом, что обо мне – извозчике – можно было говорить только в шутовском понимании слова.

Воспитывать, кстати говоря, можно по-всякому. Можно произносить укоризненные слова, а можно и молча – вздыхая. Бабушка говорила, изыскивая все новые интонации, а мама вздыхала с одной и той же силой, но очень методично и настойчиво. Я должен был понять, что ей тоже решительно не нравится поездка под руководством Мирона.

Перед сном, поправляя мою подушку, мама сказала, еще раз вздохнув:

– Держался бы ты от него подальше.

Мама – провидица. Она точно в воду глядела.

Днем, меньше чем через сутки после моей поездки на Машке, у дырчатой границы, которая отделяла наш двор от поликлиники, Мирон разыграл мерзкую сцену.

На нашей территории в снегу лежали четыре полена. Они были разбросаны как-то очень интересно – вроде бы цепочкой. Будто кто-то их растерял, эти четыре полена. Таскал торопливо большие охапки и впопыхах растерял.

Я вернулся из школы в самый разгар ругани. По нашу сторону стояла простоволосая бабушка в пальто, накинутом на плечи, а во дворе поликлиники с противным привизгом орал Мирон.

Я сразу понял, что он набрался, – а ведь пьяным он был особенно жесток, – и я испугался за бабушку. Надо ли говорить, что сразу, еще не узнав, в чем дело, я оказался не на его, а на ее стороне.

Конюх не выбирал слов. Раньше его ругань всегда обращалась к предметам неодушевленным, например к дровам, или к существам безответным – кобыле Машке. А тут родная бабушка!

– Я вот на тебя заявлю, трах-тарарах! – блажил он. – Весь народ воюет, а ты дрова воруеть! Да и пацаненка приучаешь, бум-перебум! Вон он какую дыру в конюшне разворотил!

Перепалка шла по всем правилам искусства, а настоящие крики – это такие, когда все кричат и никто никого не слушает.

– Народ-то воюет, – с достоинством, какое, конечно, возможно в таком крике, отвечала суровым голосом бабушка, – да ты-то отсиживаешься, кулацкая рожа! У самого душа черная, и нас замарать хочешь? Не выйдет! Придумал! Подбросить свои поленья!

– Воры! – орал Мирон. – Народное имущество тянут!

– Да мы с голоду помрем, – отвечала бабушка, размахивая указательным пальцем, – а ничего чужого не тронем!

Мирона за рукав тащила его жена Захаровна, он отмахивался от нее, выдергивал руку, потом толкнул ее, на секунду отвлекшись от ругани. Захаровна упала.

Я увидел, как затряслись ее плечи, она поднялась с трудом, сперва на колени и только потом на ноги. Одну руку Захаровна протянула вперед, к Мирону, что-то шептала ему, но он и слушать не хотел, орал, пошатываясь, изнемогал от лютой, звериной ненависти. Чего-то ему не терпелось еще

сказать, такое важное, из-за чего он и распалил этот сыр-бор, но к этому важному следовало еще подойти, подобраться, отыскать причину. И он наворачивал!

– Растуды-туды-сюды! Дети в поликлинике мерзнут, дров не хватает, а они, ишь ты, поленья через забор тягают. Вот заколочу забор-то!

– Заколоти! – отвечала бабушка. – Давно мечтаю!

– Ох-переёх, небось и дыру в конюшне провертели не случайно, лошадь отравить хотите!

Я уже смеялся, просто хохотал, надрывал живот, даже портфель в снег бросил. Ну, вражья сила, чего выдумал!

Мирона мой смех точно подстегнул, он завизжал с новой яростью:

– Да я на вас в суд! Думаете, большевики, дак все дозволено?

Может, он из-за этих слов всю склоку-то с дровами затеял!

Захаровна подбежала к Мирону, дернула его изо всех сил за руку, но он опять отмахнулся, а дергала его Захаровна незря: на крылечко вышла заведующая поликлиникой. Я едва узнал ее – она была в белом халате и очках, строгая и опасная.

Она постояла всего минуту, только минуту послушала крики конюха, но ей и этого хватило.

– Миро-о-он! – проговорила она властно.

Тот сейчас же обернулся и уже открыл рот, чтобы повто-

рить свои гнусные обвинения, но заведующая не дала ему сказать.

– Мир-о-он! – повторила она ему и добавила, как отрубил: – Брось! Дурака! Валять!

– Дрова воруют, – начал было он, а заведующая снова, только еще требовательнее, сказала ему:

– Брось дурака валять! И прикуси язык!

Конюх повернулся и пошел, Захаровна тотчас схватила его за руку. Он больше не вырывался. А я подумал про Кошца Бессмертного. Погибель его была в сундуке, в утке, в яйце, на конце иголки. Не знаю, погибель ли, но вот страх Миронов – это точно – хранился у этой большой заведующей. Два слова – и укротила, так просто ведь это не бывает.

Еще я вспомнил печную кикимору: скрипит, будто скрежет зубами от злости, ухаёт и воеет, пугает людей.

Кикимора этот Мирон, больше никто.

Конечно, можно терпеть обиды, сглатывать их вместе с комком, который к горлу подступает, только обиды обидам рознь.

Мучил меня конюх обидами, а я все старался забыть, думал только о Машке – самолюбие свое прятал в карман, не хотелось мне подозрительно жить, подозрительно по сторонам глядеть, пусть даже на Мирона. Но ему все трын-трава, значит, я для него пустое место, ноль, и эта доброта его, когда я Машкой правил, – минутная доброта, а минутной доброты не бывает. Не должно быть. Если доброта на минуточ-

ку, значит, все остальное время – жестокость! Или безразличие, по крайней мере.

А жестокость – она жестокость и есть.

Про обиды речи теперь у нас не было. Речь шла о войне – войну объявил нам Мирон. Бабушке, маме, мне.

– Ну, подожди, – повторяли мы по очереди, потому что всеми нами владела одна-единственная мечта. – Ну подожди, придет с фронта отец, он тебе задаст!

Я сам не замечал, как сжимались у меня кулаки, когда я думал теперь про Мирона. Мы что – две женщины да мальчишка, слабые люди против него. Сила ломит и соломушку, нас и оболгать можно, обвинив в воровстве дров, но вот подожди, придет настоящий мужчина с войны, что ты ему ответишь, темная сила, печная кикимора?

Дикая злоба конюха и Машку у меня отняла: дыра моя уже наутро оказалась накрепко заколоченной изнутри, и я опять говорил с кобылой лишь через стенку.

– Ничего, Машка, – говорил я, поглаживая доски конюшни, – придет отец, он и за тебя отомстит, за все твои муки.

Война, тяжелая война шла у нас с Мироном. Не сговариваясь, и я, и бабушка, и мама отворачивались, когда он попадался навстречу, старались не вспоминать о нем и дома, будто он испарился, исчез с лица земли. Мы мстили конюху своим презрением, своим молчанием, тем, что вычеркнули его ничтожную фигуру из наших разговоров, но это не было капитуляцией или поражением. Напротив, каждый шаг при-

ближал наступление.

Наверное, бабушкина душа, как и мамина, с трудом переносила это тягостное затишье. Я сужу по себе – я страдал.

Задумываясь о Мироне, сжимая кулаки, я воображал, как отец возвращается с фронта, и первое, что мы делаем, – собираемся все вчетвером – папа, мама, бабушка и я, – отец, конечно, впереди, грудь в медалях, мы пролезаем в наш дырявый забор и подходим к конюху.

Он в ужасе пятится назад, спотыкается, непременно падает, и тогда отец могучей рукой поднимает его с земли, берет за ворот и начинает трясти, да так, что борода у Мирона прямо летает, зубы клацают, а глаза наливаются жутким страхом.

Дальше моя фантазия, бурная обычно, отчего-то угасала. Отец трясет конюха, тот кричит в ужасе: «А-а-а!» – и дальше все пропадало, стиралось. Но может, этим и должна закончиться праведная месть: пусть трясется, не убивать же его в самом деле.

А зима никак не кончалась, как не кончались бои. Отец писал утешительные слова, которые никого не утешали: ведь там, на фронте, летали миллионы пуль и снарядов!

Отец, отец! Я до сих пор, давно став взрослым, не знаю, где ты был в тот-то и тот-то день такого-то далекого месяца, что делал утром или вечером: держал винтовку, лежал в окопе, ел кашу из котелка или, может, жизнь твоя в такой-то и такой-то час была куда спокойнее – в тыловом охранении

или на отдыхе, – много я не знаю про тебя, ведь нельзя же рассказать про каждый час жизни; это значило бы прожить другую жизнь, заставить прожить ее сына, жену, близких.

Да, это невозможно – знать каждый миг другой жизни, все верно, но как я хотел знать этот каждый миг, как я желал всей своей ребячьей душой, чтобы всякий миг облетала тебя пуля, не трогал осколок, не прикасалась беда и боль.

Можно верить, нужно верить! Можно и нужно верить, что с твоим отцом ничего не случится в том крошечном аду, но сколько видел я, как бьются в слезах мои малолетние дружки, как дрожат худенькие мальчишечьи плечи в неутешном плаче – они ведь тоже верили и ждали, да слабая выходила эта защита – вера и ожидание.

Не раз и не сто, вдруг среди дня, среди смеха или среди ночной темноты я, обмирая всем телом, думал об отце и молил, молил все силы, какие лишь есть на белом свете и там, за пределами белого света, в звездной, торжественно-тихой тьме, – молил старушечьими, от бабушки услышанными словами: «Сохрани и оборони, не дай потеряться, истаять, пропасть! Сохрани и оборони, потому что без тебя, папка, ничего не получится, не выйдет. Да без тебя просто нельзя – это разве трудно понять? Сохрани и обереги!

Пусть летит беда мимо, пусть будет все что угодно, только не это, что и словами-то страшно назвать!

Сохрани и обереги!»

Я думаю теперь, на уроках я бледнел в такие минуты, едва

не терял сознание от своей страстной мольбы, отдавал все силы свои и весь свой дух главному желанию. Это случалось не с одним мной. Когда уходил, возвращался в жизнь, не раз проваливался я в бездны бесконечных детских взглядов. Под пыткой бы не признался никто из нас, о чем он думает в этот миг. Такие мольбы слышны одному, а другие здесь лишние: у каждого свой отец.

Я представлял, как батя держит за шкуру Мирона, но в леденящие минуты заклинаний, чтобы отец остался жив, отгонял это видение, как сглаз, как наваждение: да будь он неладен, конюх. Только бы! Только бы!

Большое желание не разменивают по мелочам. Я мог насолить конюху и без отца.

В ту пору был развит такой спорт. Загибали железную проволоку, накручивали коньки – конечно, не такие, как теперь, – прямо на валенки, и на улице цеплялись за какой-нибудь транспорт: за лошадь или за редкую машину.

Когда цепляешься за машину – жуть берет. Несешься – аж снег летит. И тут важно, чтобы дорога была накатанной, и лучше всего, зацепившись, ехать позади и чуть рядом с машиной, чтобы видеть дорогу.

Когда по главной улице пер грузовик, у него на хвосте катилось пацанов десять самое малое. Если не хватало места, ухитрялись сделать так: тот, кто зацепился своим крючком, другой рукой держал еще один крюк, и за ним несли еще

один мальчишка. А за ним еще, целый состав.

Милиционеров было мало, все тетки, гоняли нас вяло – разве угонишься за пацаном на коньках? А если и угонишься, что с ним делать? К матери вести? Она на работе. В милицию вызывать? Так чем она поможет, коли днем-то ребятя все равно сама по себе.

Честно говоря, я машин боялся. Были жертвы. На коньках требовалось стоять мастерски. Если машина затормозит, можно по инерции укатиться вперед, под колеса. Были у нас ветераны войны школьного возраста – однорукие и одноногие мальчишки, неумелые ездоки за машинами. А сколько разбитых носов и шишек! Ведь даже если машина просто съедет с накатанной дороги на снег, можно очень даже запросто пострадать – коньки вгрызаются в мягкий наст, на скорости летишь носом вперед. Вот я и боялся машин. Даже без бабушкиных и маминых нравоучений обходился – сам видел, что к чему. Цеплялся к лошадям, точнее, к саням.

Нельзя сказать, чтобы это уж совсем безопасно. На каждом возу извозчик с кнутом – бережет силы своей лошади; зацепился, так гляди в оба, чтобы ни секунды промедления. Иной какой взрослый парень и без кнута обойдется – соскочит с саней, догонит неумелого конькобежца и надает тумачков. Так что и на малой скорости хлопот не оберешься. Удовольствие и страх соревнуются между собой.

Я вначале обходил его подводу, отворачивался в сторону, не замечал злобного врага. Но в том-то и дело, что он был

злобным. Другой извозчик хлопнет кнутом для острастки – ребята отцепятся тут же, а этот целил. Будто воробьев лупил.

Сидит тихо, для обману голову склонит, будто спит, потом хрясь – и какой-нибудь пацаненок летит с воем в сугроб, а пальтецо его распорол Миронов кнут.

В нашей округе даже ходила молва, что этот бородатый извозчик заливает в конце кнута свинцовый набалдашник, что просто так пальто, даже худенькое, не располосуешь, что за бородатого лучше не цепляться.

Уличная горка не любила и боялась Мирона. И я бросил вызов.

Уроки стратегии без сочетания с тактикой кое-чему научили меня. Допустим, соображал я, мне удалось прицепиться. Что дальше? Какой толк, если он огреет меня? Надо сделать так, чтобы позлить его как следует и при этом остаться невредимым, это раз. А во-вторых, какой я друг кобыле Машке, если стану для нее лишним грузом?

Я придумал.

Для Машки – цепляться только тогда, когда они едут с горы. Для Мирона – чтобы позлить его – раздобыть длинную цеплялку. Так, чтобы кнут не достал меня.

Это было не такое простое дело – достать длинную цеплялку, но мне поспособствовал Вовка Крошкин: с помощью довоенных марок из серии ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, если кто не знает, – я достиг соглашения с одним большим парнем из Вовкиного района, и тот

выгнул мне такой прут, что все надо мной поначалу засмеялись на нашей горке.

Но только поначалу.

Когда не знаешь, в самом деле смешно. Длинный железный прут сгибается на плече, прямо-таки провисает, будто коромысло. И весу в нем – ого-го, наверное, килограмм.

Я зашел на гору и, вяло отшучиваясь, начал ждать. Пацаны цеплялись за любую подводу, а я стоял, выжидая своей минуты.

Наконец появился Мирон. Он уже порядочно обнаглел, даже не оборачивался: его тут все знали, никто не цеплялся. И тогда пробил мой час. Я занял исходную позицию, пробежал несколько шагов за Машкиными санями и подцепился. Лошадь будто почувствовала это, но не обиделась, весело фыркнула мне. Я злорадно усмехнулся: Машка – союзница! А ты, Мирон...

Мальчишки, растянувшись по горке, стояли разинув рты. Наверное, это заставило Мирона обернуться.

Он увидел меня, нахмурился, но кнутом не хвостнул – отвернулся. Несколько метров мы проехали спокойно, и я уже подумал, что конюх не тронет меня вообще, признав своего знакомого. Наивная душа!

Мирон просто думал, ему потребовалось время на размышления. Но зато потом! Он так резко обернулся и с такой злостью хлестнул кнутом, целя в меня, что я вздрогнул, хотя ведь готовился к этому.

Не зря готовился! Кнут стукнул по моей железке, даже близко меня не достав.

Я засмеялся. Засмеялись пацаны на горке. Все видели посрамление бородатого извозчика из детской поликлиники. Ничего не скажешь: одним ребятишкам везет молочко, других лупит кнутом.

Я стал тираном. Меня не волновало катание на прицепе в принципе. Я не цеплялся к другим лошадям, но зато мерз долгие часы на нашей горке, чтобы, дождавшись Мирона, подцепиться к нему длинным, на заказ исполненным крючком.

При этом я смеялся – и не как-нибудь «хи-хи» или «ха-ха». Я даже дома, когда никого не было, упражнялся в этом демоническом смехе, стремясь добавить в голос баса и металла. Чередуясь с пискливым издевательским хохотаньем, мелким горохом детского измывательства, все это превращалось в целое представление.

Ребята, завидев Мирона, нарочно разлетались по всей горке, чтобы увидеть мой концерт, да еще и поддержать его своими радостными восклицаниями, многие из которых, будем откровенны, ничуть не уступали любимым выражениям Мирона и как бы таким образом посрамляли взрослого бородатого конюха полным отсутствием почтения даже в такой специфически взрослой сфере духовной жизни.

Он бесился, шея его багровела, он яростно лупил кнутом, но ничего у него не получалось.

Он принял мой вызов. Торжество мое длилось недолго.

В один прекрасный и солнечный день, когда народу на горке было особенно много – может, это было даже воскресенье, выбрал же, гад! – я, как обычно, зацепился за Машкины сани. Громогласное «ха-ха-ха!» я чередовал с издевательским пискливым «хи-хи-хи!», менял на измывательское «ху-ху-ху!» и начинал крутить пластинку по новой.

Я видел, как Мирон замахивается, как медленно, точно нехотя, прорезает синее небо кнут, как блестит на солнце один повернутый ко мне глаз конюха, как движется в мою сторону черная острая змейка, но мне и в голову не пришло отцепиться: длинная цеплялка, знал я, оберегает меня от удара.

Лишь в самый последний миг я понял, что ошибся, – даже не понял, почувствовал. Тонкое жало кнута нависло над моим глазом, и я чуточку повернулся – отцепиться уже не хватало времени.

Меня полоснуло чем-то огненным и острым, я заметил, как по снегу просыпались красные ягодки брусники, и услышал, как пацан, стоящий неподалеку, заорал во всю глотку:

– Уби-ил-и-и!

«Кого-то убили», – подумал я и свалился в снег.

Я быстро вывернулся из сугроба и сказал мальчишкам, обступившим меня:

– Он кнут надбавил!

Мальчишки не отвечали – тарасились на меня во все гла-

за, и вдруг из-за них появилась бабушка. Она протягивала мне чистый платок и говорила:

– Промокни кровь! Кровь промокни!

В том-то и дело, что это была не бабушка. Какая-то старушка, проходившая мимо. Я ее принял за бабушку от боли и испуга.

Если бы это была моя бабушка! Она бы, наверное, подала в суд на Мирона, а так все обошлось спокойно. Я сам сбежал в больницу, мне остановили кровь перекисью водорода, а потом наложили два маленьких шва. Стежки до сих пор есть на моей щеке, под ухом, только побелели от времени. Не повернись я в последний миг, мог бы остаться без глаза.

Бабушка и мама так и этак пытали меня, где да как. Сохрал, что, когда катался, упал на свою цеплялку. Мама собственноручно унесла ее на работу, и больше я своего ценного крючка не видел. Но спасибо ему! Свое сослужил!

И Мирону, и мне.

Вот такая история.

К ней следует припомнить еще одно: расплату.

Отец вернулся из армии не скоро, а когда он приехал, после крепких объятий и слез, поцелуев, разговоров и нескольких рюмок, которые выпил он с бабушкой и мамой, мы отправились в баню. В тот же день.

Еще бы! Кончилась, кончилась, кончилась, наконец, про-

клятая война, все прошло, все миновало, и настала новая, чистая жизнь! Как же не вымыться, прежде чем отправиться по ней – по новой, ясной, счастливой дороге!

Прямо в гимнастерке, с боевыми своими медалями, где громче всех звенит «За отвагу», пошел отец в первый свой штатский путь: за одну руку уцепился я, в другой несолидная сумка с бельем и мочалками.

И здесь надо объяснить очень важное.

Ванные тогда были в редкость, народ ходил по баням, и, чтобы помыться, требовалось отстоять очередь, да не какую-нибудь – многочасовую. Но та, самая первая очередь, которую выстояли мы с отцом, показалась мне прекрасным праздником. Я готов был стоять в ней вечно.

Тесноватые коридоры и прихожую подпирали плечами разный люд, но мне казалось – одни солдаты. То ли медали – у всех до единого, – то ли погоны да пилотки делали их главными в банных закоулках, то ли бесконечная радость – чувствовать рядом большую руку, ощущать табачный дух, слышать забытый голос отца.

Я не мог на него наглядеться и разглядывал то снизу, из-под его локтя, то со стороны, отойдя на несколько шагов в говорливую, оживленную толпу. Вот он тут, живой и невредимый, смотрите, пацаны!

Мальчишки глядели. В этой толпе было много таких, как я, с отцами в гимнастерках. А все же больше – серыми кучками, с глазами голодных волчат.

Одни делали вид, что им все равно, говорили о чем-то друг с дружкой, другие разглядывали военных хоть жадно, а угрюмо.

Мне стало неловко, но пусть простят меня пацаны: лишь ненадолго, на одно мгновение. Нет, не в силах я был побороть себя, свою радость, так долго желанную.

Когда мы раздевались в шумном предбаннике, жалость и страх чуть не задушили меня. На теле отца я увидел два шрама – два ранения. Еще бы немножко правее, и не радовался бы я теперь, не хорохорился постыдно перед одинокими пацанами. Еще бы немножко... Холодок прокатился по мне: так близко, в нескольких сантиметрах, скользнула по отцу страшная беда.

По отцу, это значит – по мне.

Не раз в тот вечер сжимал я зубы – и дома, и тут, – не раз вспыхивали слезы в глазах яркими, разноцветными брызгами.

Как мало бывает таких мгновений в жизни! Слава богу, что мало. Будто необъятное богатство, выпущенное было из рук, вернулось к тебе, и у богатства нет цены, потому что оно выше всякой цены.

Выше, неповторимей и безвозвратней.

День клонился к вечеру, в мойке душно и парно, сквозь туман едва просвечивают лампочки под высоким потолком и белые тела людей.

Гулко громяют шайки о бетонные лавки, плещет вода,

возбужденно переплетаются голоса, сливаясь в гомон.

Отец потащил меня в парилку, заставил забраться на полоч, занял веник у какого-то бородатого старика, хлопал им меня, а я сторал от жары, от радости, орал, как дурачок, какую-то чепуху.

Он смеялся надо мной, мой батя, не жалел моей шкуры, мы вышли в предбанник красные, точно вареные раки, обнявшись и устав.

Бухнулись на лавку.

– Эх, пивка бы! – сказал отец.

– Пивка бы! – как эхо откликнулся старик с бородой.

Не у него ли отец занимал веник? Я пригляделся. Да это Мирон!

Ну вот!

В бане, при народе, – неподходящее место, а встретились, встретились...

– А! – проговорил отец. – Никак ты, соседушка?

– С возвращеньцем, – поклонился Мирон.

Не такой уж он был старик, это борода скрывала его возраст, а тело еще хоть куда. Правда, с отцом никакого сравнения. Отец или он, кто кого? Глупый вопрос.

И вот настал мой миг.

Ведь настал? Ведь я же готовился к нему? Тысячу раз представлял я себе, как отец трясет его за шкурку – мучителя проклятого, темную силу, кикимору печную. И вот мы втроем. Не очень подходящие условия, ну и что? Не надо

трясти его за шкуру. Пусть лучше скажет отец. Просто скажет.

Мирон сидел перед нами, держа на коленях шайку, прикрывая ею срам, отдыхал после парилки, волосы расплзлись по лбу, борода висит мочалкой, и глазки спрятались в узкие щелочки.

И вдруг я понял: Мирон боится меня. Он тоже ждал, вернется ли мой отец, надеялся на лучшее – конечно, для него, надеялся: не вернется. Но вот вернулся, и я рядом с ним, пацаненок, – какой с меня спрос? Расскажу отцу, а он солдат, вернулся с войны, что он, глядеть будет, если узнает про те дрова и скандал с руганью или откуда шрам на щеке?

Я потрогал щеку, пощупал след Миронова кнута. Улыбнулся. Не очень понравилась ему моя улыбка. Он встал. Дрожащими руками поставил шайку, предстал перед нами во всей наготе.

То ли оттого, что голый, а это всегда неудобно, даже в бане, то ли от страха передо мной был он какой-то жалкий, ничтожный.

Мирон достал рваное полотенце; оно было чистое, но рваное – полотенце его и спасло. Я пожалел его.

Впрочем, нет. Не буду валить на рваное полотенце. Просто, когда я увидел худенькую тряпицу, которой вытирался Мирон, я понял, что не скажу ничего отцу. Потом, может, когда-нибудь, а только не сейчас.

И еще я вспомнил про Полю, как топили мы сразу восемь печек, а она рассказывала про кикимору. И про Захаровну – лежит в снегу, а потом с трудом поднимается, сперва на колени.

«Бог с тобой», – подумал я про Мирона бабушкиными словами, а когда он надел латаные кальсоны и рубаху и снова встал, оправляя исподнее, я вдруг сказал себе: «Да что ты знаешь о нем? Обманывал, хвостнул кнутом, врал про дрова? А еще, еще, еще! Туда, дальше, что ты знаешь о нем? Какая душа у него, как он жил, кто и почему наказал его – ты знаешь?»

Нет уж, будь как будет.

Все, что сделал он, принадлежит ему».

«Будь что будет» – есть такое выражение.

Все было, как было.

Он не подобрел, не изменился, старый конюх. Все так же нещадно лупил Машку. Работы у него прибавлялось не по дням, а по часам. Бутылочки с молочком и кашей все так же стучали в проволочных ящиках – бутылочки, бутылочки, сотни горластых колокольчиков.

Я вырос, стал студентом.

Вышло так, что приехал на каникулы лишь через год, вошел во двор, поставил на землю фанерный чемоданишко, радуясь встрече с родителями и бабушкой, да Мирон стер с меня улыбку: я услышал знакомый звук кнута. Снова лупил

он кобылу Машку, старую, наверное, как сам, снова лупил, будто время остановилось и детство мое было только вчера.

Из глубины нашего двора, через починенный забор, я тоскливо глядел, как измывался Мирон над лошадыю. В последние годы он стал еще злей, еще нелюдимей. Мама говорила, Захаровна жалуется: с ней-то даже почти не говорит. «Дай-подай», да и только.

«Ах, Мирон, могила тебя, видать, выпрямит», – подумал еще я.

Я уехал опять – снова началось мое учение – и скоро получил письмо от мамы. Почта тогда приходила ко мне до восстребования на Главпочтамт; тут же в людном и шумном зале я разрывал конверт, торопясь, и всякий раз улыбался, разбирая знакомый мамин, или отцов, или бабушкин почерк.

Мне виделись всегда при виде конверта из дому наша комнатка, тихий шаг ходиков, знакомые трещины на потолке, оклеенном бумагой, и в обоях, которые давно следовало сменить.

Письма приносили мне малые наши новости, от конвертов веяло покоем и постоянством, которых так недоставало в студенчестве.

Тот памятный – но такой обычный – конверт я тоже раскрыл с улыбкой.

И вдруг шум почтового зала замер – я видел лица незнакомых людей, их поспешные шаги, торопливые движения, но суета эта была нема.

А мама написала о том, что умер мой давний враг – Мирон. Что его убила тихая кобыла Машка.

Он лупил ее, как всегда, писала мама, и ничего не ждал, никакой опасности от своей старой лошади, но много лет битая Машка вдруг зароптала, заходила на поводу перед своим хозяином, блеснула расширенным зрачком, поднялась на задние ноги – неуверенно, неумело поднялась, видать, с детства своего так не вставала, играя, а тут поднялась, заржала диким, тоскливым голосом и вдруг ударила передними копытами своего хозяина.

Он крикнул – негромко, хрипло, – упал. Прибежала Захаровна, на крылечке поликлиники собрался целый выводок медсестер в белых халатах; Поли не было – она уже выучилась, уехала в другой город.

Мирон кряхтел, точно ему дали под дых, то открывал, то закрывал рот. Приехала «скорая». Его увезли.

Вот и все.

Машка убила конюха, он умер в больнице через несколько дней от сильного внутреннего кровоизлияния.

Поля приехала за матерью, увезла ее с собой. Она похорошела – женщина в расцвете, мать двоих детей.

Узкую комнату с окном почти под потолком занял одинокий старик, новый конюх. Потом околела Машка. Бутылочки с детским питанием стала возить машина.

Да, мое желание сбылось. А я пожелал тогда, в бане: будь

что будет.

Так и стало. Было то, что выбрал сам конюх Мирон. Его убила собственная жестокость.

А может, неизбывная обида, тоска, неизвестное мне прошлое – их не увидишь, не поймешь, не рассудишь...

Их не рассудишь, верно, но за что же он меня-то, мальчика, невзлюбил, что я ему такого сделал?

Может, я для него что-то собою означал? Какую-то такую мысль, что ли? Вот он и не любил эту мысль.

Никого-то он не любил, не щадил.

Излюбился от своей обиды, молчал, ото всех таился, нарочно на себя наступал: не забывай, не забывай, а вы все, кто забыть готовы, пропадите пропадом. И мотал свою душу, терзал дочку, жену, свою кобылу, а может, раньше всего себя терзал, свое нутро, выжег его, вычернил глухой тоской, впору завывать по-волчьи.

Ах, дядька Мирон! Пожалел бы ты кого! Может, в этом твое спасение!

Да что я знаю о нем?

Но вот что я знаю не о нем.

У каждого времени своя жестокость.

А доброта – одна, на все времена.

Не скрипи, не вой, не рычи, кикимора, не пугай детей.

## Комментарии

*Кикимора.* – Впервые в журнале «Юность», 1983, № 4. Вошла в книгу «Магазин ненаглядных пособий» (М., «Детская литература», 1984).

«Пусть время, в которое живет и действует герой повести „Кикимора“, слишком удалено от современных ребят, – замечает рецензент повести Любовь Лехтина, – но нравственный опыт его для них ценен и необходим, автор передает его мальчишкам 80-х годов, ибо „доброта – одна, на все времена“ – таков нравственный урок повести».

Критик замечает также, что «Лиханов не боится вводить в текст публицистические и философские рассуждения, которые работают на его идею. В „Кикиморе“ немало гражданских размышлений писателя о времени и его нравственных категориях. Они отнюдь не мешают восприятию повести, а, наоборот, проясняют позицию автора и главную мысль произведения» («Литературная Россия», 1983, 10 июня).

В печати подчеркивался деятельный и бойцовский характер героя повести, теперь уже третьеклассника: «...пораженный бессмысленной жестокостью конюха Мирона, с тупой яростью истязавшего не только лошадь, но и близких своих и себя, этот малыш уже не просто спешит на помощь, а пытается дать бой» (Фокин В. Крепко любить и сильно страдать. – «Комсомольское племя», Киров, 1985, 5 марта).

Тот же критик так определяет стилевое своеобразие повести: «Угловатые подробности быта, по-мальчишечьи грубоватые детали, детская обостренность восприятия. Тонкая лиричность повествования, вдруг щемящая по-матерински нежность, добрая мудрость, увы, прожитых уже лет. Суровая правда времени и высокий романтизм помыслов и устремлений».

*Игорь Мотяшов*